

Евгений Маурин

Кровавый пир



Приключения Аделаиды Гюс

Евгений Маурин

Кровавый пир

«Public Domain»

1899

Маурин Е. И.

Кровавый пир / Е. И. Маурин — «Public Domain»,
1899 — (Приключения Аделаиды Гюс)

«Максимилиану Робеспьеру снился сон. Перед ним раскинулось большое угрюмое поле, и это поле была Франция. Низко-низко над землей нависали густые клубы удушливого дыма, прорезаемые зловещим багрянцем пожарного зарева, которое кидало кровавые зайчики на чахлую, серую растительность и трупы, в изобилии усеивавшие поле – Францию. А среди трупов бродили волки. Большие, косматые, страшные, они со сладострастной жадностью набрасывались на скорчившиеся в мучительной агонии тела, вгрызались в них оскаленной пастью и по уши погружали окровавленные морды в горячие, еще дымящиеся внутренности...»

© Маурин Е. И., 1899

© Public Domain, 1899

Содержание

Часть первая,	5
I	5
II	8
III	14
IV	19
V	23
VI	29
VII	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Евгений Иванович Маурин

Кровавый пир

Часть первая, которая вводит читателя в предварительный круг событий

I

Сон диктатора

Максимилиану Робеспьеру снился сон. Перед ним раскинулось большое угрюмое поле, и это поле была Франция. Низко-низко над землей нависали густые клубы удушливого дыма, прорезаемые зловещим багрянцем пожарного зарева, которое кидало кровавые зайчики на чахлую, серую растительность и трупы, в изобилии усеивавшие поле – Францию. А среди трупов бродили волки. Большие, косматые, страшные, они со сладострастной жадностью набрасывались на скорчившиеся в мучительной агонии тела, вгрызались в них оскаленной пастью и по уши погружали окровавленные морды в горячие, еще дымящиеся внутренности.

Всесильному диктатору стало страшно. Ему хотелось бежать от этого зрелища, хотелось отвернуться, закрыть глаза. Но мертвенная неподвижность сковывала ноги, и глаза, не подчиняясь воле, продолжали в упор смотреть на разгоравшуюся оргию кровавого пира.

И видел Робеспьер, что у тех волков – человеческие лица... знакомые, близкие лица! Вот безжалостный Барэр де Вьезак «Анакреон¹ гильотины», вот Сен-Жюст, этот «мозг» диктатора, и Кутон, его «рука»; вот гениальный стратег, администратор и инженер Карно, «бич Вандеи» Ронсен, страстный трибун Дантон; вот оба Приера, Ленде, Колло д'Эрбуа, Жан-Бон, Сент-Андре, Вадье, Лавикомтри, Дюбаррен, Леба, художник Давид, Анахарсис Клоц. И себя самого наконец увидел под личиною волка всесильный Максимилиан Робеспьер! В таинственной раздвоенности он был и тут, и там: одновременно смотрел на ужасное зрелище и принимал в нем участие, замирал от боли, скорби и негодования при виде бедствия родины и в то же время хищно скалил зубы, выискивая новую жертву.

А прежних жертв уже показалось мало ненасытным волкам. Скаля зубы, злобно поблескивая фосфорическими огоньками в глазах, издавая стонущее рычание, они недоверчиво озирались друг на друга, и вдруг их косматые тела сплелись в общей свалке. Вот присел, отбиваясь от стаи недругов, неистовый Дантон. С бешенством разбрасывал он по сторонам наседавших на него волков, пока Робеспьер-волк, к ужасу Робеспьера-зрителя, не ринулся на него, не ухватил его зубами за затылок... И когда под яростно ущемляемыми челюстями Робеспьера стали с мягким хрустом поддаваться шейные позвонки волка-Дантона, когда тот вдруг начал оседать и корчиться в бессильной ярости, Робеспьер выпустил свою жертву, выпрямился, вытянул шею и протяжно, торжествуя завыл. Остальная стая принялась догрызать павшего Дантона, и вмиг от гордого трибуна остались одни лишь клочки.

Кончили волки, облизнулись, а затем вдруг стали медленно подползать к Робеспьеру, пощелкивая зубами, жадно поблескивая фосфоресцирующими зрачками. На одну минуту все-сильным диктатором овладело чувство безумного страха. Он закрыл глаза, и это погубило его.

¹ Знаменитый греческий лирик.

Сразу надела на него свирепая стая. Вот и ему, как Дантону, вцепилась в загривок чья-то горячая пасть. Вот надели на него тяжелые, шершавые тела товарищей-волков. Робеспьер сделал отчаянное усилие, чтобы высвободиться, вцепился в тело ближайшего волка, напрягся и... скинув с головы душившее его одеяло, с досадой отбросив подушку, в которую он вгрызся зубами, соскочил на пол и остекленевшими от ужаса глазами осмотрелся вокруг.

Все было удивительно чисто, приветливо, мирно в этой скромной, почти бедно обставленной спальне. Вид чисто выбеленных стен, на которых играли первые лучи раннего осеннего солнца, подействовали успокоительно, отрезвляюще на разгоряченное кошмаром воображение Робеспьера. Он медленно провел обеими руками по лицу, как бы отряхивая последние остатки страшного сна, надел туфли и подошел к окну.

Широко распахнув обе половинки окна, Робеспьер до половины высунулся, наслаждаясь ароматной свежестью ясного осеннего утра. Кроткая, грациозная меланхолия, которой всегда полна осень, нежной дымкой обвевала позднюю роскошь цветов, как будто торопившихся разукрасить последние дни своего краткого существования пестрым фейерверком ярких красок. А над цветочными куртинами свисали понурые ветви серебристых тополей, в матовой листве которых, словно седина в волосах стареющей красавицы, уже проглядывала предательская желтизна. И только неугомонные птицы с обычной деловитостью суетились в садике, оглашая воздух трескучим щебетаньем, как будто для них не существовало времен года и вечно царил одна весна.

Робеспьер жадно дышал свежим, ароматным воздухом, смотрел на тихую прелесть этой идиллической картины и чувствовал, как сознание мало-помалу стало воцаряться в его разгоряченном мозгу, как все строже укладывались хаотически разбросанные мысли, как все энергичнее вступал в свои права холодный, трезвый рассудок. И, рассеянно следя за какой-то птицей, которая с ликующей песней понеслась все выше и выше к безоблачному небу, Робеспьер думал:

«Почему так глубоко поразила меня этот вздорный сон и почему душа уже готова видеть в нем мрачное пророчество? Разве этот сон открыл мне что-нибудь такое, чего я раньше не знал? Разве Дантон втайне не обречен мною на смерть и разве не твердил я себе каждый час, что всякий шаг к власти приближает меня к эшафоту? Да, и меня принесут когда-нибудь в жертву интересам великой Франции, как теперь ради той же цели я жертвую другими жизнями. Это – закон необходимости, который я давно познал. Почему же какой-то сон мог смутить меня?»

Быть может, меня взволновало то, что мы, идейные вожди освобожденной Франции, явились в этом сне под личиной бессмысленных, одной лишь кровожадностью воодушевленных волков? Но разве я не знал и без того, что все эти отбросы низверженной тирании иначе не называют нас, как волками? Они думают оскорбить нас этим. Глупцы! Они не знают, что и волк – лишь исполнитель воли Верховного Существа, что кровожадность зверя – звено в стройной гармонии мироздания! Не будь волков, и все слабые, больные, отсталые тяжелым бременем легли бы на армию, задержали бы ее шествие вперед. Не будь волков, поля сражений обратились бы в очаги страшной заразы. Так и мы отсекаем все то слабое и немощное, что способно задержать великое движение человечества на пути к идеалам свободы. Так и мы исполняем обязанности великих социальных санитаров, уничтожая элементы тления и заразы, убирая политически омертвелые организмы. Да! Мы – волки! Но мы можем гордиться этим. Ведь мы творим лишь волю Высшего!

Значит, все это не могло, не должно было подействовать на меня так угнетающе. В чем же дело? Неужели в том, что до сих пор моя смерть представлялась мне лишь умозрительно, отвлеченно, а ныне предстала предо мной во всей своей трагической реальности? Неужели же я дрогну, когда придет этот час, и трусливо, робко положу последний камень воздвигнутого мною памятника? Неужели допущу, чтобы низменные животные инстинкты преодолели разум философа?»

На одну минуту Робеспьер закрыл глаза руками, как бы охваченный мучительными предчувствиями, но, когда сейчас же отнял руки, его лицо уже дышало полным спокойствием. И устремив взор туда, где из-за тополей проглядывало ослепительное сияние утреннего светила, он преклонил колени, простер руки к солнцу и с глубокой верой сказал:

– О, Ты, Высшее Существо, правящее миром! Просвети и наставь меня, дай мне сотворить волю Твою! Когда же настанет мой час, дай мне твердость, чтобы я мог умереть, как подобает гражданину!

Эта молитва окончательно успокоила Робеспьера, окончательно внесла мир и порядок в чувства и мысли. Он с обычной щепетильной тщательностью занялся туалетом, затем отыскал на кухне молока и хлеба, позавтракал с отличавшей его аскетической скромностью потребностей и сел за письменный стол, чтобы просмотреть очередные дела.

II Маркиз де Ремюза

Дел, ждавших быстрее рассмотрения, было очень много. Тут были вопрос об урегулировании цен на съестные припасы, возросших до невероятных размеров, записка об окончательном утверждении конституции и мнения о необходимости задержать ее применение, проект закона о подозрительных и многое другое. Но Робеспьер отложил в сторону папки с этими делами и развернул одну, на которой красными чернилами, словно кровью, было четко выведено: «Революционный трибунал».

В этот день предстояло заседание этого страшного судилища, почти не ведавшего оправдательных приговоров, знавшего лишь два рода наказаний – ссылку и смерть, но за редкими исключениями не практиковавшего первого из них. Президентом революционного трибунала был Герман, вице-президентом – Дюма, судьями и присяжными – Кофиналь, Дюпле (квартирный хозяин Робеспьера), Никола (его типографщик), Субербьель, Рендуен и Топино-Лебрэн, публичным обвинителем – Фукье-Тенвиль. Таким образом сам Робеспьер, бывший официально лишь одним из членов комитета общественного спасения, как будто не имел отношения к автономному, безапелляционному трибуналу. Но это было лишь «как будто», а на самом деле Робеспьер так же неограниченно распоряжался делами этого судилища, как и делами комитета и всей Франции. Он был полновластным диктатором, и революционный трибунал был одним из органов его власти. Независимые внешне члены трибунала получали все инструкции от Робеспьера, который в важных случаях предрешил судьбу обвиняемых.

Сегодняшний процесс – процесс «десяти аристократов» – был очень важен в глазах Робеспьера. Из десяти обвиняемых, представителей самых громких фамилий старой аристократической Франции, только двое были скомпрометированы уликами в попытке организовать бегство королевы Марии Антуанетты из тюрьмы. Против пятерых было только необоснованное подозрение, а остальные трое могли считаться скорее друзьями нового строя, чем защитниками павшей монархии. Вот почему процесс был отложен, так как Робеспьер отдал строгий приказ во что бы то ни стало подготовить почву для обвинения. Со старой Францией надо было кончать! Наследственные враги народа должны были сойти со сцены жизни!

Теперь данные для обвинения были добыты, и еще третьего дня Фукье-Тенвиль вручил Робеспьеру подробный доклад о полученных результатах, но диктатор за массой дел и тревог не успел еще просмотреть его. За этот-то доклад и взялся теперь Робеспьер.

Как докладывал публичный обвинитель, данные обвинения могли считаться вполне достаточными, принимая во внимание патриотическое одушевление судей. Виконты д'Аррас и де Брюйес, а также граф Огюст Морни уличены бесповоротно и не только сознались в заговоре против блага республики, имевшем целью освободить «гражданку Капет» из тюрьмы, но имели еще дерзость заявить, что исполнили лишь долг дворянина и верноподданного. Маркиз де Верту, барон д'Юзес, шевалье де Броншар и граф де Луру-Беконэ не сознались в соучастии, но их вина доказывается тем, что они бывали постоянными гостями д'Арраса и подолгу совещались с ним и с Брюйесом и Морни. О чем же могли говорить эти аристократы, как не о деле, интересовавшем всех лакеев низверженного тирана, то есть об освобождении вдовы казненного Людовика XVI? Кроме того, из допроса первых двух выяснилось, что они относились несочувственно к казни короля и заключению королевы, а последние трое, равно как виконт де Лион д'Анжер и маркиз де Нивернэ, были замечены в театре «Лицея» страстно аплодировавшими пьесе «Адель де Саси», в которой, как известно, достаточно похоже инсценирована история королевы.

«Только по отношению к последнему обвиняемому, – написал далее Фукье-Тенвиль, – улики оказались крайне шаткими, вернее – их нет совсем. Дознано, что маркиз де Ремюза...»

При этом имени Робеспьер вздрогнул и невольным движением оттолкнул от себя доклад. В последнее время он забыл, что в числе обвиняемых находится также и Ремюза, и теперь это имя опять вызвало в душе диктатора целый хаос самых разнообразных чувств и дум. Робеспьер сам не мог понять, радуется ли он или досадует на то, что против Ремюза нет никаких улик; не мог разобраться, перевешивает ли в его душе человек или политик.

Да, против Ремюза не было улик, и Робеспьер понимал, что их и не могло быть. Одна только вина была бесспорна, это – происхождение от длинного ряда угнетателей народа, все же остальные улики служили по большей части лишь маской, прикрывавшей эту главную, самую глубокую вину. Но... но разве та услуга, которую оказал Робеспьеру пять лет тому назад Ремюза, не обязывала к благодарности? Правда, эта услуга была оказана частному человеку, и только как частный человек, а не как государственный деятель мог отблагодарить его Робеспьер; но разве сама по себе эта услуга не свидетельствовала, что Ремюза в значительной степени лишен обычных пороков своей касты, что он – не защитник монархического произвола? И в воспоминании Робеспьера воскрес тот трагический эпизод, при котором состоялось его знакомство с маркизом де Ремюза.

Это было в Аррасе, где Робеспьер занимался адвокатурой, посвящая свои досуги литературе и философии. Тогда он еще не мечтал о широкой государственной деятельности и скромно жил в уютной квартирке вместе со своей племянницей Люси Ренар, дочерью его рано умершей старшей сестры.

Люси была истинным солнцем, благословением его трудовой жизни. Очень хорошенькая, живая, веселая, умненькая, она наполняла домашнюю атмосферу звонким щебетаньем ликующей юности. Дядю она окружала самой внимательной, любовной заботой, заменяя ему мать, жену и сестру. Как славно, как тихо текла тогда жизнь Робеспьера! Юриспруденция – теоретическая и практическая, философия – главным образом любимый Жан-Жак Руссо – и поэзия заполняли всю его тихую, довольную жизнь. Да и поэзия тоже! Кто бы мог поверить, что Робеспьер, теперь кровожадный, неумолимый, жестокий, пять лет тому назад писал нежные, чувствительные стишки, что и теперь он не оставил служения музам?

Так шли дни, и казалось, что вечно будет длиться безоблачное счастье. Но горе уже сторожило их.

Однажды, возвратившись домой довольно поздно после заседания Аррасской академии, в делах которой Робеспьер принимал деятельное участие, он с ужасом узнал, что Люси ушла под вечер на часок к подруге, но до сих пор не возвращалась. Робеспьер прождал ее некоторое время, затем кинулся к этой подруге, обегал всех знакомых, у которых могла бы быть Люси, но везде слышал в ответ, что никто из них не видал в этот день девушки.

Робеспьер побежал домой, питая слабую надежду, что Люси тем временем вернулась. Когда же эта надежда не оправдалась, он словно зверь забегал по комнате, перебирая в уме все способы выручить племянницу из постигшей ее беды... Он уже не сомневался, что беда действительно случилась, и отлично понимал, какого рода была эта беда. За хорошенькой девушкой усиленно гонялись местные петиметры, ну а этот народ способен на все!

Какие ужасные минуты переживал тогда Робеспьер! Главное, что приводило в отчаяние и бешенство, – это сознание полной беспомощности. Поднять на ноги полицию, добиться приема у губернатора и молить его содействия, обратиться к друзьям? Но ведь для того, чтобы можно было сделать что-нибудь, надо прежде всего знать, где искать Люси! Конечно, завтра весть об исчезновении девушки облетит весь город и, наверное, к дяде пропавшей придут все, кто мог дать хоть какое-нибудь указание. Но разве есть хотя бы какая-либо возможность бездейственно ждать этого долгого, страшного «завтра»?

Грохот подъехавшего экипажа вывел Робеспьера из этого мучительного состояния. Он кинулся на улицу и увидел, что какой-то молодой дворянин привез растерзанную, до неузнаваемости изменившуюся Люси. С девушкой делалось Бог знает что: она то падала в глубо-

кий обморок, то билась в сильнейшем истерическом припадке, рвала на себе платье и волосы, ломала руки, кусала пальцы и кричала страшным, душу леденящим голосом.

Дворянин, оказавшийся маркизом де Ремюза, помог внести несчастную в дом, съездил за доктором и вообще выказал участие, чрезвычайно тронувшее обезумевшего от горя Робеспьера. И все время долгой болезни Люси маркиз постоянно заезжал узнавать о ее состоянии.

Не скоро удалось добиться от Люси рассказа, как случилась с нею беда. Но самое главное было уже известно из показания маркиза.

Да, невеселая была это история! Все время, пока Люси шла к подруге, за нею неотступно следовала какая-то карета со спущенными занавесками на окнах. В глухом переулке карета вдруг остановилась, из нее вышли трое молодых людей с масками на лицах, схватили растерявшуюся девушку, заткнули ей рот платком и сунули ее в карету. Последняя сейчас же понеслась с бешеной скоростью. Куда? Это Люси не могла видеть, так как шторы окон были плотно закрыты. Она только чувствовала, что сначала они ехали по шоссе, а затем, видимо, свернули на проселочную дорогу.

Наконец карета остановилась, Люси завязали глаза, затем взяли на руки и понесли куда-то. Когда ей снова развязали глаза, она увидела себя в очень хорошеньком лесном домике, обставленном с большой роскошью. Затем девушку освободили от платка во рту, и один из похитителей обратился к ней как ни в чем не бывало с предложением принять участие в ужине и подкрепить свои силы. Когда же девушка с негодованием потребовала объяснения такого чудовищного насилия и приказала немедленно отпустить ее, покончив с шуткой, зашедшей слишком далеко, тот же дворянин ответил ей с дерзким смехом:

– Полно, красавица моя, ты уже вышла из детских лет и должна понимать, где раки зимуют! Не для того похищают хорошеньких мещанок, чтобы отпускать их, ничем не попользовавшись. Так тебе отсюда не уйти! Ну, так примиришься с неизбежным и будь умницей! Садись, ешь и пей! А завтра утром я отпущу тебя, одарив знатным приданым. Примиришься, девушка, покоришься, потому что все равно – добром или насилием, но ты будешь моей!

Сказав это, он протянул руку, чтобы обнять Люси, но энергичная девушка ответила ему звонкой пощечиной и кинулась к дверям. Однако в один миг ее настигли, и, хотя Люси отбивалась, царапаясь и кусаясь, словно пойманный зверек, негодяи быстро скрутили ее по рукам и ногам и положили на широкую оттоманку.

Затем они уселись за стол и принялись жадно есть и пить. Пили они особенно много, и по мере того, как вино кидалось им в голову, в их растленном мозгу рождались все новые преступные мысли. В конце концов они выработали адский план. Раз красавица так недоступна и зла, то порознь им, пожалуй, с нею не справиться. Но... разве они не друзья? Так чего же им стесняться друг друга. Они по очереди докажут мятежной мещанке, что она сделала глупость, не примирившись добровольно с неизбежным! А потом, когда все трое пресытятся ее прелестью, от девушки надо будет избавиться. Конечно, убивать ее они не станут – неблагоприятно дворянину пачкать руки в крови женщины, они просто занесут ее связанной в чашу и оставят там: в этой местности много всякого хищного зверя, который и сделает все остальное!

Случилось так, что около этого времени маркиз де Ремюза, гостивший у родственников в Аррасе, возвращался в город после визита к одному из соседних помещиков. Юноша ехал в легком экипаже по красивой лесной дороге, как вдруг издали донеслись заглушённые женские крики о помощи.

Оглядевшись, маркиз сообразил, что находится неподалеку от знаменитого «охотничьего домика» графа де Понте-Корво.

Об этом домике и его хозяине в народе ходили недобрые слухи. Де Ремюза знал графа по Парижу и понимал, насколько эти слухи правдоподобны. Действительно, граф де Понте-Корво, единственный наследник громкого имени и громадного состояния предков, отличался дьявольской развращенностью. Его предки были выходцами из Италии, отличались чрезвы-

чайной гордостью и боялись унижить себя неравным браком, а потому у них практиковались исключительно семейные союзы. И так случилось, что кровь, не освежаемая притоком извне, стала вырождаться. Отец и дед графа покончили с собой в припадке острого сумасшествия. У единственного ныне графа де Понте-Корво извращенная разнузданность, жестокость, доходившая до сладострастия, и отвратительная кровожадность явно указывали на умственную ненормальность. И действительно, было что-то безумное в удовольствиях и развлечениях графа.

Крики о помощи явно указывали маркизу, что граф в тиши леса терзает новую жертву. Не раздумывая долго, де Ремюза остановил экипаж и кинулся в лес на голос.

Невозможно описать ту страшную, возбуждающую глубочайшее отвращение картину, которая открылась маркизу в охотничьем домике. Вид жертвы придавал мужество юноше. Не обращая внимания, что негодяев – трое и что тут могли оказаться еще и слуги, он ринулся с обнаженной шпагой на насильников. Слуг в домике не было (граф избегал лишних свидетелей), а неожиданность появления непрошеного защитника, растерянность негодяев, хмель – все это стало союзником юноши. Граф де Понте-Корво тут же пал, сраженный ударом шпаги в сердце, а его приятели трусливо бросились в окна. Маркиз не стал преследовать их. Подхватив на руки бесчувственную девушку, он понес ее к экипажу. Кучер сейчас же признал девушку, и поэтому ее прямо свезли к дяде.

Долго проболела Люси, а потом пришло новое горе. К несчастью, маркиз опоздал на полчаса, и самому графу удалось добиться своего. Теперь последствия насилия стали сказываться: Люси с ужасом обнаружила, что скоро станет матерью. Правда, нервная горячка, которую вызвало это открытие, избавила Люси от плода, но зато все перенесенные муки так потрясли ее хрупкий организм, что дело кончилось параличом, поразившим нижнюю половину тела. И так случилось, что хорошенькая, жизнерадостная девушка в расцвете лет оказалась навсегда прикованной к креслу!

В первый период болезни маркиз де Ремюза чуть не ежедневно бывал в доме скромного адвоката. Его так трогало безграничное отчаяние Робеспьера, ему так жаль было надломленной молодой жизни девушки, что он не мог уехать, не дождавшись поворота в состоянии здоровья больной. Поэтому он со дня на день откладывал свою поездку в Англию, куда собирался отправиться с образовательной целью.

В течение этого времени Робеспьеру пришлось много беседовать с маркизом, и он имел возможность убедиться, насколько Ремюза непохож на большинство людей своей касты. Конечно, будучи молодым, веселым и богатым, Ремюза не вел жизни анахорета; нет, он давал полный выход молодым силам, искрометным ключом бившимся в его натуре, и его любовные приключения не раз вызвали сенсацию даже в самом Париже, которого ничем не удивишь. Но во всех этих историях сквозило неизменное душевное благородство, в них никогда не было ничего, способного наложить пятно на имя порядочного человека, а главное – они не составляли для него цели и сути существования. Ремюза много читал, думал, и взгляды, которые он высказывал в разговорах с Робеспьером, доказывали, насколько его ум мог подняться над эгоистическим лесом кастовых интересов.

Маркиз откровенно признавался, что не может понять короля и еще менее – его наущников и советчиков.

– Если бы я, – не раз говорил он, – потерпел кораблекрушение и доплыл до необитаемого острова, нагруженный съестными припасами, и если бы на этот остров прибыл еще один потерпевший, лишенный всего, я поспешил бы поделиться с ним своим добром. Но в таком акте сказалось бы прежде всего только благоразумие. Человек, ставший перед лицом необходимости, не станет рассуждать о правах других, а постарается обеспечить свое собственное существование, и, если я не поделюсь с товарищем по несчастью, он напряжет все свои силы, чтобы убить меня и завладеть всем моим добром. Народ и дворянство ныне поставлены в положение именно таких двоих людей. Франция разорена и может прокормить население только

при дружественной совместной работе. И прежде всего аристократия должна поступиться своими привилегиями, должна отказаться от права вести разгульную жизнь за счет изнывающего в работе земледельца. В стране не хватает хлеба, а аристократы твердят о священности прав! Но когда у народа нечего будет есть, он сам отнимет эти права вместе с жизнью. Ни аристократия, ни сам король не хотят понять, что они танцуют на вулкане, что право возможно лишь при нормальных условиях жизни, а там, где жизнь вышла из нормы, законы права уступают законам необходимости. Король громко вещает о прерогативах монарха, о том, что Божий помазанник творит лишь волю Его и ни перед кем, кроме Него, не ответствен! Но ведь это – богохульство валить все на Господа Бога! Разве Его воля, чтобы страна разорялась, народ нищал? Нет прав без обязанностей, и раз король доказал, что не может вывести государственный корабль из бездны, он должен призвать на помощь других кормчих, должен поступиться своими прерогативами в пользу народа. Ведь сам-то король плавает в довольстве, страдает народ. Так кому же, как не народу, решать свою дальнейшую судьбу?

Много говорил по этому поводу маркиз де Ремюза, и всегда его рассуждения были проникнуты благородной трезвостью ума, искренней любовью к родине, горячим сочувствием к обездоленному народу. Не будучи в душе революционером, отнюдь не одобряя насильственных действий, Ремюза открыто говорил, что при упорстве короля и знати только революционный путь может спасти Францию от окончательного разгрома.

Когда Люси стала поправляться, Ремюза уехал в Англию и пробыл там несколько лет. Тем временем Робеспьер был избран депутатом от третьего сословия в собрание генеральных штатов и переехал с разбитой параличом Люси в Париж. Дороги Ремюза и Робеспьера разошлись, и вот после нескольких лет имя Ремюза всплыло перед Робеспьером, когда оказалось в списке десяти аристократов, арестованных комитетом общественного спасения по доносу одного из тайных агентов – Жозефа Крюшо.

Уже тогда имя маркиза де Ремюза остро поразило Робеспьера и охватило его душу невыразимым смятением. Первым его движением было сейчас же бежать в комитет и приказать, чтобы Ремюза выпустили на свободу. Но Робеспьер был прежде всего человеком нравственного долга; он тут же сказал себе, что безопасность государства не может страдать от личных чувств его руководителей, что добродетель человека не искупает преступления гражданина, что услуга была оказана не Франции, а Робеспьеру. Но в то же время нежный образ Люси ярким укором стоял перед его глазами! Поэтому, не придя ни к какому окончательному решению, Робеспьер решил сначала обождать результатов дознания.

Теперь эти результаты были перед ним, теперь настало время сказать свое последнее слово. О, как не хотелось всеильному диктатору опять, как всегда, отрешиться в этом деле от всяких личных чувств, как протестовало чувство гражданского долга против малейшего пристрастия в силу личных соображений! Как же быть? Как выйти из этой дилеммы мысли и чувства?

Но прежде всего надо было дочитать доклад Фуке-Тенвиля. И опять взяв в руки бумагу, Робеспьер стал читать далее:

«Дознано, что маркиз де Ремюза состоял во враждебных отношениях с виконтом д'Арсасом, который еще несколько лет тому назад обвинил маркиза в неподходящем для аристократии образе мыслей, и что с графом Огюстом Морни у Ремюза было несколько месяцев тому назад сильное столкновение на почве любовного соперничества, и это привело ко взаимному оскорблению и вызову на дуэль. Однако дуэль была предупреждена вмешательством шевалье де Броншара, друга детства маркиза де Ремюза, к слову сказать, единственного, с кем из всех обвиняемых поддерживал отношения последний. Впрочем, дуэль была лишь отложена на неопределенное время, и в этом-то и заключается главная улика против упомянутого Ремюза: будучи спрошен о причинах отсрочки дуэли, последний ответил, что противники признали настоящее время неподходящим для сведения личных счетов, и оно отложено до лучших вре-

мен. Де Ремюза не мог объяснить, чем недостаточно хорошо для него настоящее время и на какое лучшее он надеется!»

Волнение, луч растроганности, выражение участия – все сбегало с лица Робеспьера, когда он прочел последние строки доклада. Взор диктатора загорелся суровым фанатическим огоньком, лицо сразу застыло, окаменело. С силой хлопнув ладонью по докладу, Робеспьер сказал ледяным тоном:

– Довольно сентиментальностей! Улика ясна и очевидна. То, что проповедовал Ремюза пять лет тому назад, было или лицемерием, или болтовней юноши, в котором хищные кастовые интересы еще не убили юного стремления к правде. Теперь Ремюза созрел, торжество народо-властия внушает опасения, гибель членов касты пугает его. И вот он уже забыл бред юности и мечтает о наступлении лучшего времени, то есть о возрождении тирании, под крылышком которой так легко живет всем ему подобным! Существование таких Ремюза – залог величайшей опасности для свободной Франции. Смерть ему! Смерть всем, в ком коренится хоть крупица смерти и тления для свободного духа!

Твердою рукою Робеспьер взялся за перо и энергично макнул его в чернильницу. Вдруг громкое чириканье отвлекло его внимание. Робеспьер обернулся: на подоконнике в забавно горделивой позе уселся толстый воробей, задорно таращивший черные глазенки. Лицо Робеспьера осветилось слабой улыбкой. Вдруг он с испугом бросил перо и сказал с глубокой тревогой:

– Бог мой! Я совсем забыл про канарейку! Ведь бедняжка без воды и корма! – и кровожадный, безжалостный диктатор, целыми партиями отправлявший людей на эшафот на основании одних необоснованных подозрений, бросил все дела и торопливо вышел из комнаты, чтобы не причинить страданий слабой пичужке.

III

Террор и революция

Все это происходило в первый месяц страшной эпохи террора, когда по всей Франции шла разнузданная вакханалия кровавого пира. Впрочем, ввиду того, что различные исторические писатели относят начало террора к разным моментам, мы принуждены пояснить, что это было в сентябре 1793 года.

Действительно, в то время как одни считают началом террора 5 сентября, другие утверждают, что эпоха террора началась с 14 июля 1789 года (день падения Бастилии), третьи же относят возникновение террора к 20 июня 1792 года, считая, что сентябрьские убийства уже были его полным воплощением, а четвертые считают эту эпоху от дня изгнания жирондистов монтаньярами, то есть от 31 мая 1793 года.

Подобное разногласие проистекает от разницы в понятии самого слова «террор», которое, исходя от французского «*terreur*», означает «страх», «ужас». При этом одни говорят, что *страх*, испытанный парижанами при известии о движении прусской армии на Париж, послужил причиной проявленной ими жестокости в сентябрьских убийствах; поэтому эпохой террора надо считать такое время, когда народ под действием *испытываемого* страха теряет меру добра и зла. Другие же утверждают, что террор – понятие чисто административно-правовое, а уж никак не медицинское. Это – система управления, при которой порядок и повиновение поддерживаются чувством страха. Словом, уже в основе этого спора заложено противопоставление страха, испытываемого кем-либо, страху, кем-либо нагоняемому². Но, выясняя эту разницу понятий, мы были принуждены перечислить столько различных дат и терминов, что само объяснение останется неполным, если мы не коснемся общей истории всех этих событий. Если весь ход Великой французской революции ясно и свежо стоит перед глазами читателей, мы покорнейше просим их попросту перевернуть страницы этой главы и прямо перейти к четвертой. Но читателю, который чувствует себя не очень твердым в истории этой эпохи, мы настоятельно советуем не пропускать этих строк: без них многое в дальнейшем течении нашего повествования покажется непонятным. Мы же постараемся быть возможно краткими.

Отчаявшись выйти из затруднительного финансового положения, грозившего полным банкротством, Людовик XVI созвал в 1789 году генеральные штаты. Это собрание представителей всего государства созывалось и прежде (первые генеральные штаты собрались в 1302 году), но роль так называемого «третьего сословия», то есть лиц непривилегированных – мещан, купцов и крестьян, была там самая незначительная. Теперь времена переменились, и депутаты третьего сословия потребовали равноправия. Когда первые недели прошли лишь в бесконечных пререканиях о правах третьего сословия, последнее увидело себя вынужденным прийти к важному решению. А именно – третье сословие 17 июня 1789 года объявило себя национальным собранием. Король не хотел примириться с захватом депутатами таких прав и потребовал, чтобы они разошлись, но члены национального собрания принесли клятву не расходиться и отказались повиниться. Король, инспирируемый тайным придворным комитетом, душой которого была королева Мария Антуанетта, для видимости покорился, однако сам стал стягивать к Парижу наемные иностранные полки. Депутаты видели, что придворная партия замышляет кровавыми репрессиями подавить проснувшееся народное самосознание, и потребовали

² Так называемая субъективная и объективная теория репрессий. Можно пояснить все сказанное следующим примером из русской истории. Царствования Иоанна Грозного и Петра Великого в достаточной мере богаты казнями. Но в то время как Иоанн казнил потому, что испытывал постоянный страх (мания преследования), Петр казнил для того, чтобы ослушники и противники реформ ходили под постоянным страхом.

от короля, чтобы он отозвал иностранные войска. В то же время они переименовали национальное собрание в учредительное.

Высокомерный ответ короля на требование народа и роспуск министерства Неккера, благожелательного к собранию, вызвал сильное возмущение среди парижан. Начались стычки с королевскими войсками, народ вооружился и 15 июля 1789 года кинулся на Бастилию – тюрьму для государственных преступников, которая была фактическим олицетворением произвола прежнего режима. Весть о падении этой крепости как громом поразила двор. Король явился без всякой стражи в учредительное собрание и уверил депутатов, что отнюдь не покушается на их права и составляет одно целое с нацией.

Был ли он искренен тогда? Весьма возможно, что да. Но Людовик XVI легко поддавался чужому влиянию, отличался неустойчивостью, а придворная партия имела слишком хорошего представителя своих интересов в лице королевы Марии Антуанетты, которую король очень любил. Мария Антуанетта стала злым гением короля, всей королевской семьи и самой себя. Колеблясь между нацией в лице собрания и придворной партией, Людовик выказал такую нерешительность, вел себя так двусмысленно, что нация имела полное право отказать ему в доверии. Это было тем ужаснее для самой идеи монархической власти, что движение, выразившееся во взятии Бастилии, перекинулось на провинцию и распространилось далеко вглубь страны. Таким образом скоро король остался совершенно без опоры, а королева и придворная партия слепо вели к сопротивлению нации, то есть – к своей гибели.

А в Париже начался голод, этот могущественнейший союзник всех революций и переворотов. Голодающий народ, раздраженный пирушками короля в Версале, произвел несколько нападений на дворец, и в конце концов короля чуть не силой перевезли из Версаля в Тюильри. До 1791 года королевская семья играла комедию, притворяясь, будто новый порядок вещей признан ею. Но в июне 1791 года Людовик тайно покинул Париж, собираясь при помощи брата королевы, императора Леопольда II, начать восстановление старого порядка с границы. Однако в Варенне короля опознали и вернули в Париж. Там он был взят «под надзор нации», то есть арестован, и был вынужден присягнуть новой конституции.

Теперь участь Людовика XVI казалась уже предрешенной, его роль низвелась до полного ничтожества. Фактически главой государства стало национальное собрание, переименованное сначала в законодательное собрание, а потом – в национальный конвент.

В собрании к этому времени уже определились партии. Крайнюю правую занимали фельяны (конституционные монархисты), левую – жирондисты и монтаньяры. «Жиронда», получившая свое название от департамента, депутаты которой играли главную роль в этой партии, состояла из людей очень талантливых, работоспособных и образованных, но умеренных. Эта-то умеренность и была впоследствии причиной их падения. Монтаньяры, то есть «горцы», получили свое название от того, что занимали самые высокие скамейки в собрании. Это была партия непримиримо-крайних; достаточно сказать, что из ее рядов раздались призывы к террору и вышли самые кровожадные террористы. Кроме этих партий, была еще «равнина». Это была инертная, трусливая масса, которая шла то влево, то вправо, смотря по тому, кто сумел повести ее за собою. Сначала «равнина» (или «болото») помогла «жиронде» занять в конвенте господствующее положение, затем помогла «горе» низвергнуть «жиронду». Когда «гора» раскололась на партии Эбера и Дантона (этих партий в сущности было очень много), «равнина» помогла Робеспьеру уничтожить враждебные партии, и она же помогла свергнуть самого Робеспьера.

Кроме всех этих элементов необходимо назвать еще клубы и коммуну.

Из клубов главную роль играл якобинский, члены которого собирались в прежнем монастыре якобинцев. Это были самые крайние, самые нетерпимые фанатики террора. Клуб якобинцев играл такую важную роль, что члены его, как, например, Дантон и Марат до избрания в конвент, не будучи членами правительства, играли, однако, первую скрипку в актах правитель-

ственной власти. Что касается коммуны, то это был общинный муниципалитет города Парижа, сменивший королевский муниципалитет прежнего режима.

Итак, короля заставили присягнуть конституции, но в то же время Людовик известил государей других стран, что его согласие было лишь вынужденным. Австрия и Пруссия приняли тогда вызывающий тон по отношению к революционному правительству Франции, к тому же король снова начал настаивать на своих монарших прерогативах, и в результате, после народного восстания 10 августа, законодательное собрание взяло короля под стражу и объявило его лишенным власти. В то же время агенты законодательного собрания стали, по настоянию Дантона, хватать без разбора всех «подозрительных», не давая пощады даже женщинам, старикам и детям. Все арестованные содержались в ужасающих условиях в переполненных тюрьмах, но скоро наступило очищение мест заключений: узнав, что иностранная армия двинулась на Париж, население пришло в такую ярость, что стало врываться в тюрьмы и избивать заключенных – даже детей и старцев. Это и были знаменитые своею беспощадностью «сентябрьские убийства».

Но Франция реагировала на вражеское нашествие не только этими позорными убийствами. Весть о вторжении врага вызвала бурный взрыв патриотизма, для пополнения армии отовсюду стали стекаться толпы волонтеров. Нашлись и талантливые полководцы. И вот 20 сентября в битве при Вальми генерал Дюмурье смял пруссаков и сам перешел в наступление. Вообще революционная армия оказалась на очень большой высоте, что легко можно объяснить: ведь каждый солдат знал, во имя чего и за что он жертвует жизнью!

21 сентября открыл свои заседания национальный конвент. Теперь фельянов уже вовсе не было, крайними правыми оказались жирондисты.

В сущности и жирондисты, и монтаньяры (якобинцы) одинаково были яркими республиканцами и демократами. Но они расходились во взглядах на внутреннюю политику момента. Жирондисты протестовали против насилий народных масс, а монтаньяры возводили эти насилия в государственную систему. Кроме того, между ними лежала еще личная антипатия: большинство жиронды страстно ненавидело Дантона, игравшего в то время главную роль. Между тем Дантон неоднократно искал сближения и примирения с жирондой, и удайся это, Франция была бы избавлена от террора. Но соглашения не состоялось, это погубило сначала жиронду, а потом и Дантона.

Под влиянием успехов французской армии монтаньяры подняли вопрос об объявлении Франции республикой и о суде над королем как над изменником нации. Это было в ноябре 1792 года. С этого времени началось усиление Робеспьера и его партии. В заседании 13 ноября Сен-Жюст, друг и правая рука Робеспьера, произнес сильную речь, требуя не суда, а осуждения короля. 3 декабря на ту же тему говорил Робеспьер. Он доказывал, что король – не обвиняемый, а конвент – не судьи. «Вам предстоит не высказываться за или против известного человека, но принять меру, необходимую для общественного спасения».

11 декабря 1792 года Людовик предстал перед конвентом, 15 января 1793 года началось поименное голосование о его виновности, 19-го выяснилось, что большинство высказалось за казнь короля, 20-го было решено, что эта казнь должна состояться без всяких проволочек, и 21 января 1793 года, в 10 часов 22 минуты утра, Людовик XVI был обезглавлен.

Жиронда сделала все возможное, чтобы спасти жизнь королю, так как, по их мнению, его казнь была политической ошибкой. Вообще жирондисты были очень озабочены тем, что Францию все более и более увлекают на путь жестокостей и насилия, далеко не оправдываемых обстоятельствами, но нужных вожакам якобинцев для личных целей. Действительно вся масса якобинцев состояла из очень немногих честных, искренне заблуждавшихся людей, как-вым был, например, Робеспьер, и подавляющего числа развращенных негодяев. Для последних террор был средством наживы и сведения личных счетов. Вламываясь под предлогом политического списка в дома богатых, эти господа крали там деньги и драгоценности. Крупные

состояния Тальена («короля воров»), Фуше (министра полиции при Наполеоне), Ровера, Барраса, Мерлена, Ревбеля и многих других были составлены именно из награбленных ценностей. Кроме того эти негодяи, пользуясь своим званием комиссаров конвента, производили так называемые «реквизиции». Право реквизиции позволило комиссарам требовать в исключительных случаях от граждан того или иного города лошадей, оружия, фуража, съестных припасов и т. п. для нужд национальной армии. Но как понимали комиссары свое право, свидетельствует, например, следующее: Фуше потребовал, чтобы ему доставили 60 фунтов кофе, 150 аршин муслина, 3 дюжины шелковых галстуков, 3 дюжины перчаток, 4 дюжины шелковых носков и т. п.

Жиронда, эта партия истинных государственных людей, болела душою, видя, на какой гибельный путь вступает Франция. Она пыталась внести больше законности в жизнь страны, старалась добиться таких гарантий для личности гражданина, которые были бы достойны истинно республиканских идей. Но это шло вразрез с политической идеологией якобинцев. С этого момента, то есть со дня казни короля, история французской революции представляется нам историей борьбы якобинцев за власть, историей возвышения Робеспьера и низвержения им своих политических врагов.

Март 1793 года дал якобинцам хорошее оружие для этого. В Вандее вспыхнуло сильное роялистское движение, признаки которого появились еще с августа 1792 года, и мятежники-шуаны (как называли вандейских роялистов), действуя партизанскими отрядами, надевали много хлопот республиканцам. В этом же месяце генерал Дюмурье изменил республике, пытаясь возмутить армию, и когда это не удалось, бежал за границу. Причина измены Дюмурье заключалась в том, что он тоже не мог примириться с ростом насилий и беззакония. Но его измена лишь вызвала усиление того и другого. Дюмурье был ставленником жиронды, и якобинские газеты подняли шум о «великой измене жирондистского генерала». Этим стали готовить раздражение населения против жирондистов.

Контрреволюционное движение в Вандее и измена Дюмурье дали монтаньярам основание требовать в конвенте усиления репрессий. 10 марта был учрежден революционный трибунал – страшное судилище, на решения которого не было апелляции. От 18 до 28 марта конвент выпустил ряд декретов против контрреволюционеров, об обезоруживании дворян и духовных лиц, об изгнании на вечные времена всех эмигрантов и смертной казни тех из них, которые осмелятся вернуться во Францию, об учреждении общинных революционных комитетов для надзора за подозрительными и многое другое. 6 апреля конвент организовал комитеты общественного спасения (административный орган) и общественной безопасности (полицейско-сыскной орган).

В течение апреля замечались внутреннее усиление жиронды и ухудшение дел на границе (успехи австрийцев против республиканских войск) и в Вандее. Якобинцы искусно воспользовались тем и другим, и 31 мая состоялся переворот, о котором мы уже упоминали в предисловии: под пушками канониров генерала Анрио конвент санкционировал исключение жирондистских депутатов.

Теперь в конвенте правящей партией стали монтаньяры и их вождь – Дантон. В это время внешние дела Франции ухудшились, враг вторгся во французские пределы, роялисты в Вандее наносили поражение за поражением республиканцам. К тому же 13 июля экзальтированная девушка Шарлотта Кордэ убила Марата, знаменитого демагога, редактора кровожадной газеты «Друг Народа», вдохновителя сентябрьских убийств. Все это служило важным аргументом в устах сторонников крайних мер и ускоряло приближение террора. Действительно кровавые декреты стали сыпаться, словно из рога изобилия, особенно после того, как (27 июля) в комитет общественного спасения вступил Робеспьер. На одном только заседании 1 августа были декретированы: смертная казнь скупщикам, конфискация имущества лиц вне закона, преда-

ние суду королевы, разрушение места погребения королей (в Сен-Дени), установление принудительного курса бумажных денег, предание огню и мечу Вандеи и т. п.

Одновременно с этим революционный трибунал все усиливал и усиливал свою деятельность. Но Робеспьеру, занявшему к августу преобладающее положение в комитете и успевшему повсюду просунуть преданных ему лиц, деятельность революционного трибунала казалась слишком медлительной. Трибунал был сначала удвоен, потом учетверен, а вскоре присяжным было дано право заявлять, что дальнейшие прения не нужны, так как они достаточно ознакомились с делом и могут безотлагательно вынести решение. Этим путем у обвиняемого, казнь которого была предreshена, отнималась возможность доказательства своей невиновности.

Конечно, такая система управления уже вполне подходила под понятие «террора». Правительство не видело возможности поддерживать порядок путем проведения во всем строго правовых норм и стремилось запугать население. Но все же до поры до времени официально за террористическими мерами признавали лишь временный характер. Террор, как цельное понятие, как сущность идеологии государственного управления, даже как самое слово, впервые откровенно появилось на заседании 5 сентября 1793 года.

К этому времени нужда в Париже достигла своей высшей степени. Зарботки рабочих упали, цена на хлеб поднялась до пределов полной нелепости. На этой почве 4 сентября разразился голодный бунт, а 5-го толпа ворвалась на заседание конвента, требуя установления предельных цен на съестные припасы и смерти скупщикам. Тогда Дантон произнес эффектную речь, в которой поддержал все революционные требования народа. Напрасно немногие благоумные члены конвента старались сдержать расходившиеся страсти. Монтаньяр Друе прямо воскликнул: «Так как ни добродетель, ни умеренность, ни философские идеи наши ровно ни к чему не послужили, то будем разбойниками для блага народа». Тут же был принят ряд террористических мер, среди которых выделяется предоставление права участковым революционным комитетам арестовывать и держать под стражей всякого подозрительного человека, другим же выдавать по своему усмотрению свидетельства о благонадежности. В заключение Барэрд де Вьезак, этот истинный «Анакреон гильотины», воскликнул:

– Поставим террор на очередь дня!

И действительно, с тех пор террор был поставлен «на очередь дня». Ряд дальнейших мер ярко доказывает это. Мы только что упоминали о предоставлении революционным комитетам права ареста «подозрительных». Для того, чтобы точнее определить, кого считать подозрительными, был издан закон 17 сентября 1793 года, который гласил, что подозрительным признается не только тот, кто показал себя приверженцем королевской власти, но и тот, кто не может доказать, что он надлежащим образом выполнил свои гражданские обязанности и обнаружил приверженность к республике. На основании этого закона были арестованы те десять аристократов, процесс которых так взволновал Робеспьера в утро, когда началось наше повествование.

IV Люси Ренар

Заботливо снабдив весело чирикавшую канарейку водой и кормом, Робеспьер повернулся, чтобы идти в кабинет, как вдруг до него из комнаты Люси донесся шум колес передвижаемого кресла. Быстро подойдя к комнате девушки, Робеспьер постучался и крикнул:

– Ты уже встала, птичка?

Ему ответил нежный голос, звучащий бесконечной грустью:

– Да... Войди, дядя Макс!

У Люси была прелестная большая комната с массой света и воздуха. Благодаря неправильной форме стен, в ней было очень много окон, выходивших в сад, куда вела также широкая дверь с просторным балконом.

Посредине комнаты от одной стены до перил балкона шла довольно толстая веревка с узлами. Подтягиваясь за эту веревку, Люси могла без посторонней помощи подъезжать к окнам, к столикам с книгой или работой и выезжать на балкон. В этом кресле проходила вся жизнь несчастной. Утром к ней приходила Тереза Дюплэ, дочь квартирохозяина Робеспьера и страстная почитательница последнего. Тереза помогала Люси умыться, одевала ее, затем поднимала хрупкую, тщедушную девушку и сажала ее в кресло, где параличная и оставалась до вечера. Но Люси – кроткая, покорная, рассудительная – мирилась со своим несчастьем без озлобления и бурных протестов. Она говорила себе, что на свете существует много людей гораздо несчастнее ее, что нежная заботливость окружающих почти не дает ей чувствовать свою неполноценность, что очень много людей согласилось бы пожертвовать ногами, чтобы пользоваться таким довольством и ласкою, какие были у нее. И с утра до вечера слышался ее веселенький голосок, распевавший грациозные наивные песенки Нормандии.

Но в последнее время все чаще и чаще облачко грусти затемняло взгляд открытых, умных глаз девушки; в ее пении стало чувствоваться много тоски и внутренней скорби, сама она теряла прежнюю ровность и сдержанность характера. Девушку бесконечно угнетали потоки крови, не перестававшие литься по Франции, а еще больше мучило сознание, что это ужасное, ничем не оправдываемое положение вещей вдохновляется ее дядей, человеком, которого она ставила на голову выше всех остальных людей.

Робеспьер сразу заметил, что Люси находится в одном из обычных для последнего времени периодов тоски. Он озабоченно подбежал к Люси, склонился над нею, заглянул в ее ошуманные глазки и с глубокой сердечностью в голосе спросил:

– Что с тобою, птичка моя? Тебе нездоровится? Ты плохо спала? Или просто так взгрустнулось? Или у тебя что-нибудь болит?

Люси обвила его шею прозрачными, тонкими ручками, притянула к себе, поцеловала и ответила:

– Нет... ничего не болит, дядя Макс. Или, впрочем, душа болит... Тереза сказала мне, что сегодня состоится процесс десяти, что их участь решена... Господи, когда же кончится этот кошмар? Когда же станет свободной моя несчастная родина? Неужели народ сверг одного тирана только для того, чтобы взвалить себе на шею другого? Прежде дворянин вешал крестьянина только за то, что он – крестьянин, а теперь дворянина казнят лишь за то, что он – дворянин.

– Дитя, – сурово сказал Робеспьер, освобождаясь от нервных рук Люси, – сколько раз уже я просил тебя не заводить со мною разговора на эту тему! Ты знаешь, я не люблю говорить с тобою о государственных делах, потому что...

– Ну, да, – запальчиво перебила его девушка, – потому что я – не Тереза Дюплэ, которая только тарашит на тебя восторженные глаза и поддакивает каждому твоему слову, ловя его,

словно божественное откровение! Всесильный Робеспьер не привык к критике и противоречиям, за малейшее возражение он посылает на плаху. Но передо мною он бессилён, я и без того казнена судьбой, и вот...

– Да, Люси, ты – не гражданка Дюплэ! Она – чужая мне и все-таки глубоко верит в меня, верит, что мои поступки подсказываются мне разумом. Я потому и люблю говорить с нею, что она слепо доверяет моему бескорыстию, широте и величию моих задач. А ты...

– Но ведь я бесконечно люблю и чту тебя, дядя Макс! Пойми, в моих глазах ты всегда был чрезвычайно высок. Я пророчила тебе блестящую будущность, жаждала для тебя широкой деятельности, чтобы ты мог проявить себя во всем размахе. И вот что же? Да ведь это – ужас один! Почему ты и твои единомышленники восстали против прежнего строя? Потому что его основой была несправедливость! На чем же вы хотите построить новый строй? На несправедливости! Мой разум отказывается понимать это! Каждый день над десятками людей продельвают комедию суда, чтобы потом по заранее предрежнему приговору отправить их на гильотину. Улики против них придумываются, защищаться им не дают... все из-за чего? Из-за того, что они родились в привилегированном сословии, что их предки причинили много зла Франции... Знаешь, дядя Макс, говорят, будто собаки произошли от волков. Ну, так не перевешать ли всех собак за беды, которые причинили их предки?

Робеспьер отошел к окну и сумрачно смотрел в сад. Прошла минута неприятного молчания. Наконец он повернул к Люси окаменевшее лицо и спокойно сказал:

– Я потому и не люблю говорить с тобою обо всем этом, что твой разум не в состоянии понять меня: он недостаточно широк и свободен. Вы, женщины, ко всему прикидываете мерку чувства, я же не позволяю чувству брать верх над разумом. Но ты не понимаешь этого. Так к чему же мы будем продолжать разговор, который только мучает нас обоих? Смотри, ты опять разволновалась. Тебе вредно волнение, Люси! – Он помолчал и вдруг сказал, подхваченный волной острой горечи: – Да и вообще я не понимаю, тебе ли защищать этих господ? Не хищной ли разнузданности привилегированного класса обязана ты тем, что твоя молодая жизнь разбита в пору нежного расцвета?

– Дядя Макс, – робко и смущенно ответила Люси, потупив красивые, выразительные глаза, – среди этих десяти нет ни одного, кому я обязана своим несчастьем, но зато есть один, кому я обязана жизнью!

– И ты думаешь, что добрый поступок, сделанный гражданином Ремюза по отношению к частному лицу, уменьшает его вину перед народом?

– О, нет! Ведь его вина в том, что он – маркиз.

– Люси! – сказал Робеспьер, подходя к девушке, – боюсь, что в тебе говорит не только ложно понятое чувство справедливости, что благодарность к спасителю, пустившая более теплые ростки в твоём сердце, заставляет тебя особенно тревожиться за участь Ремюза. Да, в таком случае все мои доводы останутся напрасными. Мне не убедить тебя! Но во имя нашего прежнего понимания друг друга заклинаю тебя: верь мне, что для меня моя безжалостность – только суровый, по временам чрезмерно трудный долг. О, как хотелось бы мне иметь право отдаваться чувствам! Но я не могу, не смею, не должен.

– Я верю тебе, дядя, – сердечно сказала Люси, тронутая глубокой скорбью, звучавшей в его последних словах. – Ты прав, не будем лучше говорить об этом!

И опять они замолчали, терзаемые духовным разладом, волнуемые родственной нежностью. Робеспьеру хотелось сказать Люси что-нибудь сглаживающее, примиряющее, ласковое, и нужные слова не шли на ум. Вдруг он обратил внимание на вышивку, пестрый конец которой высовывался из объемистой рабочей корзины.

– Что это ты вышиваешь, Люси? – спросил он, нагибаясь к работе.

Люси порозовела, ее глаза загорелись светлой, чистой радостью.

– Помнишь, дядя Макс, – оживленно ответила она, – недели две тому назад ты рассказывал нам с Терезой о религии, алтарь которой тебе хотелось бы утвердить? О, это было так прекрасно, так прекрасно... как сказка, как светлый сон! У меня перед глазами вырисовался образ твоего Верховного Существа, бесконечно справедливого, мудрого и благодостного... И мне представилось Оно, окруженное радостью бытия... Злой тигр смиренно склонил к его ногам свою голову, кроткая лань доверчиво приникла к Нему. А вокруг Него радостным роем танцуют пестрые бабочки, нарядные птицы, хрупкие мотыльки. И вот я подумала: почему мне не сделать вклада для твоего будущего храма? Почему не вышить покрыва на алтарь Верховному Существо и не изобразить на этом покрыве всего того, что представилось в этом видении? И вот я взялась за работу. Вот здесь, видишь, у меня бабочки... Они ведь удачно вышли, правда? А вот тигром я недовольна: шелк попался какой-то блеклый... Да вот посмотри... – Люси стала доставать работу из корзины, энергично перебирая ее складки, как вдруг из корзины вылетела потревоженная моль. – Боже мой, моль, моль! – крикнула девушка. – Убей ее, дядя Макс, она мне все перепортит... Да ну же...

В первый момент Робеспьер невольно взмахнул руками, чтобы прихлопнуть насекомое, но сейчас же его руки опустились, и где-то в самой глубине взора блеснул отсвет затаенной насмешки.

Люси продолжала волноваться, и даже ее лицо пошло пятнами.

– Да ну же! – с искренним огорчением кричала она, досадливо хлопая рукой по столику. – Ах, какой ты неловкий, дядя Макс! Теперь она улетела и где-нибудь спряталась! Не мог ты ее прихлопнуть!

– Видишь ли, Люси, – спокойно ответил Робеспьер, – я готов был прихлопнуть бедное насекомое, но вдруг мне пришло в голову, что это было бы несправедливо. Почему ты знаешь, что моль действительно принесла тебе какой-нибудь вред? Может быть, она просто присела отдохнуть на твоей работе? Нельзя же убивать, не имея доказательств вины!

Люси изумленно взглянула на дядю, не смеется ли он над нею. Но нет, его лицо оставалось совершенно серьезным.

– Час от часу не легче! – протянула девушка, широко разводя руками. – Да ты подумай, что ты только говоришь? Каких доказательств тебе еще надо? Разве ты не знаешь, что моль оставляет дырочки на ткани, и если ее не истреблять, то платье, белье, шерсть, даже бумага – все пойдет прахом?

– Я знаю, что моль вообще приносит вред. Но где у тебя доказательства, что именно эта самая что-нибудь тебе напортила? – серьезно спросил дядя.

– Да ведь, пока я буду отыскивать доказательства, моль улетит, и скоро у меня все будет изъедено! – воскликнула Люси. – Я просто понять не могу, что за дикие мысли приходят тебе в голову! Точно я наказываю моль, точно я – судья. Не успела напортить – тем лучше! Но истребить ее надо, чтобы она не могла напортить потом!

– Почему же тебе кажется диким, если я повторяю только то, что ты сама говорила перед этим? Защищая необходимость казни дворян, я рассуждал совершенно так же: пока народ будет искать доказательств, причинил ли какой-нибудь вред именно данный аристократ, эти паразиты разрушат всю ткань неокрепшей еще республики; народ довольствуется сознанием, что аристократы по своей природе вредны новому строю; народ – не судья, он не мстит и не наказывает, а только охраняет свою родину. Почему же в данном случае ты отвергаешь справедливость рассуждения, которым сама пользуешься в другом?

– Да ведь то – моль, насекомое, а то – человек!

– Дитя мое, поверь: личность в государстве – несравненно мельче, ничтожнее, чем моль в твоей комнате, да и кроме того целость и благо государства стоят дороже, чем твоя вышивка! Нет, Люси, все дело в том, что вы, женщины, не умеете быть логичными до конца. Чувства перевешивают у вас разум... Ну, так доканчивай свою прелестную вышивку, за которую от

души благодарю тебя, и предоставь нам, мужчинам, заботу о высшей государственной справедливости!

Робеспьер поцеловал Люси и твердым шагом вышел из комнаты. Побледнев как смерть, молодая девушка безнадежно поникла головой.

V

Старые знакомые

Ветер шаловливо играл листами доклада Фукье-Тенвиля, и Робеспьер, вернувшись к себе в кабинет, заметил теперь, что не дочитал его до конца: на обороте было еще примечание, ускользнувшее первоначально от внимания диктатора.

А в этом примечании Фукье сообщал нечто очень важное: в самую последнюю минуту гражданин Лебеф заявил ходатайство о разрешении ему защищать на суде обвиняемого Ремюза. По мнению обвинителя, участие Лебефа в процессе было настолько важно, что он даже предлагал выделить дело Ремюза из процесса десяти и судить сначала только первых девять. Ведь Лебеф отличается умением воздействовать на судей и присяжных, и сколько уже жертв ускользнуло от карающего меча республики благодаря его защите! Если бы дело касалось одного только Ремюза, то с этим еще можно было бы примириться. Но ведь Ремюза судят совместно с остальными, и Лебеф естественно коснется также вопроса о виновности последних. А ведь и без того устои колеблются, и без того растут заговоры. Если карающий меч начнет дрожать в руках трибунала, противники республики поднимут головы, ободряются... Только страхом, только суровыми мерами можно удержать кормило власти в руках народа. Вмешательство таких маньяков «божественной справедливости», как Лебеф, может лишь погубить еще неокрепшее, молодое народовластие.

Дочитав до конца, Робеспьер досадливо откинулся на спинку стула. Словно целый легион злых сил ополчился на него в последнее время! Все так ясно, так просто укладывалось мысленно по его системе, а жизнь, как назло, вечно приводила его на распутье, вечно ставила перед дилеммами. И особенно много сложного клубком свилось вокруг такого простого, такого ясного дела Ремюза!

Лебеф... Да, он пользуется влиянием, уважением и обаянием. Это делает его личность крайне опасной. Но в то же время он решительно отказывается от какой-либо роли, от какого-либо административного назначения. Значит, он не честолюбив, значит, он чуждается демагогии... значит, он безопасен! Но всей своей индивидуальностью Лебеф поставлен в полную оппозицию к той системе, которой одной только и доверяет он, Робеспьер, спасение Франции. Правда, Лебеф не произносит речей против существующего режима, не выступает в печати, не шепчется по углам. Но он и не скрывает своего неодобрения тому, что совершается, умеет придать своим выражениям вескость и основательность. Таких людей Робеспьер привык одним движением сметать со своего пути. По отношению к Лебефу эта необходимость еще увеличивается его учащающимися выступлениями в защиту врагов республики. Но... Ах, эти проклятые «но»! Сколько их живой колючей изгородью сплетается на твердом, неуклонном пути диктатора! Как «устранить» Лебефа, если он, несмотря на свою умеренность, пользуется всеобщим уважением, как патриот и честный человек, и если несмотря ни на что самого Робеспьера так неудержимо влечет к этому старику!

Робеспьер встал со стула и несколько раз прошелся по комнате, словно пытаясь убежать от натиска всех этих сомнений и дум. Но насыщенный заботами мозг упрямо продолжал работать далее. Как же быть с этим процессом и выступлением Лебефа? Не допускать его до защиты? Но на это нет формальных оснований. Сурово подтвердить судьям и присяжным, что они не имеют права задаваться вопросами формальной справедливости, что справедливость высшая требует осуждения и казни? Но защита Лебефа может поколебать присяжных, увлечь на мгновение, а ведь одного мгновенья достаточно, чтобы отклонить меч правосудия! Конечно, Франция еще не пострадает от того, что какой-нибудь Ремюза и даже все десять обвиняемых окажутся на свободе. Зато пострадает принцип, система. Этого уже никак нельзя допустить, нельзя позволить, чтобы революционный трибунал стал алтарем формальной справедливости!

Но почему Лебеф взялся за защиту именно Ремюза, а не остальных обвиняемых? Какими данными располагает он для успеха? На чем хочет построить защиту?

Лицо Робеспьера просветлело: стоит только поговорить с самим Лебефом, получить от него ответы на эти вопросы, и тогда сразу будет видно, что следует предпринять. И, взяв шляпу, Робеспьер вышел из дома.

Пройдя грязными задворками, он остановился перед низеньким, мрачным, старым домиком, весь вид которого говорил о нищете и грязи. В его окнах виделись растерзанные женщины, переругивавшиеся с соседками, слышались детский плач, грязная ругань мужчин. Где-то, должно быть, дрались, и звон разбиваемой посуды смешивался с хриплыми проклятиями и глухим шумом борьбы тяжелых тел. Но из всего этого адского концерта звонко и отчетливо вырывался истерический женский визг, которому по временам вторил противный, удивительно цинический смешок.

Робеспьер брезгливо поморщился, взял горсть песка и кинул ее в окно полуподвального этажа, из которого доносилась ругань. Сейчас же вслед за этим окно распахнулось, и оттуда высунулась растрепанная женская голова.

Этой женщине было лет пятьдесят. Когда-то она, должно быть, отличалась выдающейся красотой и ее золотистые волосы до сих пор могли бы возбудить зависть любой красавицы, а жемчужно-белые зубы сверкали, как у пятнадцатилетней девочки. И теперь, приодетая, она могла бы произвести впечатление. Но волосы, давно невымытые, нечесанные, липкими прядями беспорядочно падали на лоб, щеки и разодранный ворот грязной ночной кофты, багровые пятна бешенства, покрывавшие лицо, старили и уродовали его, а налитые кровью светлые глаза нескромно выдавали, что, несмотря на ранний час, женщина уже была сильно под хмельком.

– Что за грязная каналья... – грозно начала она, готовясь обдать нарушителя покоя каскадом отборной ругани, но вдруг съежилась и испуганно открыла рот, узнав Робеспьера. – Боже мой! Гражданин Робеспьер! – залепетала она бесконечно противным, испуганно-льстивым тоном. – Могла ли я ожидать... Я...

– Гражданин Лебеф дома? – спросил Робеспьер, холодно обрывая извинения женщины. – Впрочем, что же и спрашивать, гражданка Гюс! – с бледной, иронической усмешкой добавил он сейчас же. – Раз твой сладкий голосок разносится по всему околотку, значит, семейное счастье налицо!

– Но помилуй, гражданин Робеспьер, – ответила Аделаида Гюс, – этот святоша хоть кого из терпенья выведет! Как его еще в сумасшедший дом не упрятали! Виданное ли дело, что он затеял?.. Осмеливается выступать на защиту тех, кого признала виновными сама Великая республика, решается выгораживать подлых аристократов! Я ему уже давно добром твердила: «Лебеф, ты играешь в опасную игру!» А ему хоть бы что! И вот сегодня узнаю...

– В этом ты права, гражданка, Лебеф действительно играет в опасную игру! – ледяным тоном согласился Робеспьер. – Но какое дело тебе до этого? Разве женщина может оценивать поступки мужчины? Это – наше дело! Берегись, гражданка! Нехорошо, когда женщина слишком много занимается политикой! Вспомни Теруань де Мерикур и ее судьбу³... А с Лебефом поговорю я сам. Позови-ка мне его!

³ Собственно «Анна Тервань из деревни Мерикур». Это – одна из интереснейших личностей революции. Она родилась в 1762 г. Ее отец, богатый купец из крестьян, дал ей хорошее воспитание. Соблазненная каким-то дворянином, Анна семнадцати лет сбежала из дома. В начале революции очутилась в Париже, и здесь ее салон охотно посещали все знаменитости того периода времени. В первое время Теруань де Мерикур была чрезвычайно популярна, но ее отвращение к эксцессам и жестокостям революции сделало ее неудобной для якобинцев. Спасаясь от преследования, Т. бежала за границу, попала в Вене в тюрьму, из которой была выпущена по личному распоряжению императора Леопольда. Пребывание в тюрьме на короткое время вернуло Т. прежний ореол, но, когда по возвращении в Париж она открыто высказала свое отвращение по поводу сентябрьских убийств, к ней опять начали относиться холодно. 31 мая 1793 г., когда решался вопрос о судьбе жирондистов, Т. долго и страстно защищала на площади вблизи конвента жиронду. Окончив свою речь, она ушла в Тюильрийский сад. Вдруг туда пришла целая толпа якобинок, так называемых «*tricoteuse de Robespierre*» («чулочниц Робеспьера»), которые бросились на Т. и подвергли ее

Сказав это, Робеспьер презрительно повернулся спиной к Адели и принялся задумчиво чертить что-то тросточкой на песке. Выражение дикого бешенства скользнуло по лицу Гюс. Скрипнув зубами, она погрозила кулаком всесильному диктатору и скрылась.

Через минуту из-за угла показался Лебеф. И для него тоже время не прошло бесследно. Его волосы совершенно поседели, глубокие морщины избороздили лицо, старя его лет на двадцать. Но держался он все еще прямо и бодро.

Робеспьер искоса взглянул на Лебефа и усмехнулся его бледности и подавленности. Но он ничего не сказал. Молча поздоровавшись с ним, Робеспьер повел его в сад.

Молча пошли они по дорожкам сада: один – молодой, но хилый, с нездоровым землистым лицом, с блуждающими глазами фанатика, другой – придавленный, но не согнутый бременем тяжелой судьбы и лет, с лицом, просветленным старческим опытом, с детски-чистым взором.

Сбивая тросточкой придорожные травинки, Робеспьер начал:

– Я узнал сегодня, что ты, гражданин Лебеф, берешь на себя защиту одного из обвиняемых «процесса десяти». Почему же ты, которого я справедливо считаю столь близким и родственным себе по духу и добродетели, должен вечно становиться мне на дороге в моих заботах о благе страны? Пойми меня, гражданин, если бы на твоём месте был кто-нибудь другой... о, я не стал бы тратить слова! Одно слово, одно движение руки! Но ты... ведь мы с тобою служим одному богу, мы поклоняемся одному алтарю... Почему же наши дороги сталкиваются, почему не идут они рядом?

– Нет, гражданин, – тихо и скорбно ответил Лебеф. – Не одному богу служим мы с тобою! Мой бог – право, законность, справедливость!

– Значит, по-твоему, действия революционного правительства лишены права, закона, справедливости?

– Ты сказал...

В глазах Робеспьера вспыхнул фанатический огонек, лицо исказила бледная, грустная усмешка.

– Право, закон, справедливость! – с задумчивой иронией повторил он. – Слова, слова и слова! Волк хочет есть и утаскивает единственную овцу у крестьянина, а крестьянин хочет есть и убивает волка, чтобы сохранить овцу. Кто прав из них? Оба, а значит – никто! Только необходимость может оправдывать, осмысливать поступок... Закон! Но если революционное правительство вынуждено быть более энергичным, более свободным в своих действиях и движениях, разве в силу этого оно становится менее справедливым и законным? Нет, гражданин, оно опирается на самый священный из законов – благо народа, и на самое неотъемлемое из всех прав – необходимость!

– И эту необходимость ты усматриваешь в гибели какого-нибудь Ремюза?

– Друг Лебеф, ты видишь личность там, где я вижу только принцип! Я говорю: закон необходимости приказывает очистить Францию от всякого элемента опасности. Эту опасность я вижу в самой природе аристократа. Вот мой принцип! Будет ли казнено десять аристократов, девять или пятнадцать – не все ли равно для Франции? Но для Франции не все равно, если будет поколеблен самый принцип ее права руководствоваться лишь необходимостью! Для Франции не все равно, если такие мечтатели, как ты, совлекут ее с пути законной защиты на путь правовой шепетильности! Тебе кажется ужасным, если среди многих виновных случайно пострадает невинный. Ну, а для меня... Да, если бы половине населения Франции надо было погибнуть, чтобы остальная половина могла быть счастлива, если бы я сам был в числе первой половины, я, не колеблясь ни минуты, подписал бы приговор этим миллионам невинных людей и первый бестрепетно повел бы их на казнь!

мучительному сечению розгами. Теруань де Мерикур тут же сошла с ума. Ее отправили в дом умалишенных, где она пробыла до смерти (1817 г.).

– А я... – грустно возразил Лебеф. – Если бы для счастья всей Франции нужно было казнить десятерых и если бы смерть их зависела не от их доброй воли, а от моего приговора, – я отказался бы подписать такой приговор и сказал бы всей Франции: «Вы не имеете права на счастье, если оно зиждется на гибели невинных!» Но к чему мы будем говорить о вещах, в которых никогда не могли сойтись, в которых никогда не сойдемся? Ты прав, гражданин, нас с тобою многое связывает, у нас много общего – хотя бы в том, что оба мы не преследуем никаких личных целей. Но наши пути различны, нам их не сблизить, не объединить... Зачем же столько слов? Участь Ремюза предрешена тобою, я вижу это. Может быть, ты даже запретишь мне выступать с защитой? Что же, там, где справедливость, право и закон заменяются одним словом «необходимость», это будет понятно и логично...

Лебеф замолчал, грустно поникнув головой. Молчал и Робеспьер, нахмуренный лоб которого отражал напряженную работу мозга. Наконец он сказал:

– Я ничего не предрешал. Но ответь мне сначала на несколько вопросов. Почему именно ты взялся за защиту Ремюза?

– Меня просил об этом аббат Жером.

– Ага! Под ризой монаха сказалась кровь маркиза де Суврэ⁴! Видно, свой своему поневоле брат!

– Полно, гражданин, разве ты не знаешь, что отец Жером совершенно порвал с аристократическими кругами и всецело посвятил себя народу? И разве он не одним из первых принес гражданскую присягу?

– Что же заставило его ходатайствовать за Ремюза?

– Отец Жером сказал мне, что, казнив Ремюза, республика потеряет одного из тех людей, которые как раз нужны для ее блага и процветания.

– Вот как? Громко сказано!.. Но к этому мы еще вернемся, а теперь объясни мне вот что: почему же ты из всех обвиняемых защищаешь одного только Ремюза? Его ты считаешь невинным. Значит, в виновности остальных ты уверен?

– К чему употреблять выражение, от которого ты сам отрешиваешься, гражданин? Что значат виновность или невинность? Сам же ты сказал, что волк не виноват, если, подчиняясь своей природе, тащит овцу у бедного крестьянина. Аристократ, защищая дело роялизма из убеждения, поступает доблестно и честно. Но его интересы противоположны интересам народа, и народ ограждает себя, устраняя его.

– Я понимаю виновность как вред государству!

– Ну, так из всех обвиняемых трое созались, четверо скомпрометированы, хотя их вредоносность отнюдь не доказана. А двоих – Лион д'Анжера и Нивернэ – обвиняют лишь в том, что они аплодировали на представлении пьесы «Адель де Саси». Да ведь актриса, игравшая заглавную роль, подруга сердца Нивернэ, а д'Анжер хлопал, чтобы поддержать приятельницу друга! И подумать только, что обоих этих молокососов, которые так же мало заботятся о роялизме, как и о народоправии, для которых вся жизнь заключается в попойках, вине и картах, обвиняют в каких-то замыслах против идеи, которая их не трогает! Все это было бы очевидно для всякого суда, но только не для революционного. Для ваших судей мало доказательств, что обвиняемый не был плохим патриотом, а необходимо еще доказать, что он был хорошим. Троице первым моя защита не нужна: их вина очевидна. Шестерых других я мог бы защитить в приписываемых им дурных намерениях, но не мог бы доказать, что у них были хорошие. Им я все равно не помог бы, только общая защита могла бы скомпрометировать последнего – Ремюза.

– Значит, у тебя имеются доказательства, что Ремюза добрый патриот?

⁴ Имя отца Жерома до пострижения. (См. романы Эттингера «В чаду наслаждений» и «Возлюбленная фаворита», изд. А. А. Каспари.)

– Да, гражданин!

– Вот как? Какие же?

– Ремюза отказался от дуэли с Морни потому, что считал свою жизнь принадлежащей отечеству. Как раз в момент ареста он писал заявление о желании поступить в национальную армию, но комиссар Крюшо, арестовавший его, почему-то скрыл этот факт. Затем, помнишь ли, гражданин, брошюру «О задачах конституционного и революционного режимов»?

– Подписанную «гражданин Азюмер»? Еще бы! Я был поражен сходством мыслей этого Азюмера со своими собственными и чрезвычайно жалел, что не мог дознаться, какой добрый патриот скрывается под этим именем!

– Ну так прочти его наоборот, и тебе станет ясным, что Азюмер, это – Ремюза!

Робеспьер резко остановился и от волнения даже схватил Лебефа за руку.

– Может ли это быть? – пробормотал он. – Так это – Ремюза? «Задача конституционного правления – сохранить республику, задача революционного – создать ее. Можно ли охранять то, что еще не окончено созиданием? Можно ли требовать конституционных гарантий от революции?» А дальше! «Революция – война свободы против тирании и рабства; конституция – режим победоносной свободы. Лицемеры! Можно ли испечь хлеб, не размолот зерна? Вы же требуете хлеба и негодуете, когда мелют муку!» Но ведь это – мои мысли, Лебеф, мои собственные, кровью мозга выношенные мысли! И этого-то человека... Иди, Лебеф, иди! Иди, и да благословит тебя Высшее Существо!

– Значит, ты ничего не имеешь против моей защиты, гражданин? – спросил обрадованный Лебеф.

Лицо Робеспьера стало ласковым, просветленным, пронизанным детской чистотой. С бесконечно милой улыбкой он ответил:

– Позволяю тебе не только защищать, но и защитить Ремюза! И не бойся ничего: я успею сказать словечко-другое президенту Герману и присяжным! Ступай, не заботься ни о чем! О, Высший Разум, правящий миром! Неисповедимы пути Твои, которыми приводишь Ты нас к познанию истины!

Робеспьер простер вперед руки и замер в позе верховного жреца, в горячем молении слившегося со своим божеством. Лебеф радостно пошел домой. На повороте он обернулся и еще раз посмотрел на диктатора. Из-за потускневшей зелени кустов виднелась тонкая, высокая фигура Робеспьера. В восторженном порыве по-прежнему простерты были вверх его безмускульные руки, глаза невидящим взором устремлялись к небу. Солнце, пробиваясь сквозь листву тополей, кидало на его лицо золотистые кружки и сверкающим сиянием играло в волосах. И весь он был какой-то необыкновенный, особенный, неземной.

– Станный человек! – пробормотал Лебеф. – Что же такое – добро и зло? Боже, просвети меня! Детски незлобива душа Робеспьера, жестоки поступки его. Жаждой добра и справедливости горит его мозг, деянья его – гибель и несправедливость. Из одного блага соткан он. Как же могло благо породить вопиющее зло? Но ведь и мир был создан совершенным. Или и в самом деле зло – тот огонь, который необходим для очищения добра? Как постигнуть пути Твои, Господи?

Лебеф даже остановился, лихорадочно объятый неразрешимостью этих мучительных вопросов. Но тут же в его сознании радостно мелькнула мысль о спасении Ремюза, и эта мысль перевесила в нем все остальное. Бодрым шагом поспешил он к себе домой.

Адель и друг ее сердца – агент Жозеф Крюшо – все еще сидели в первой комнате за бутылкой вина. Они о чем-то горячо беседовали, но при входе Лебефа на полуслове оборвали разговор.

– Ну-с? – с иронией спросила Адель. – Ты не будешь защищать аристократа?

– Буду, – лаконично ответил Гаспар, проходя к себе в каморку.

– Негодяй! – бешено крикнула Адель и сделала движение, чтобы вскочить и броситься за Лебефом, но Жозеф удержал ее за руку и сказал:

– Оставь! Ты со своей крикливостью только без толку наводишь на подозрения, а ведь, знаешь ли, самое скверное, когда начнут копать да докапываться... Что может значить какой-нибудь Лебеф в хитро налаженной механике национального правосудия? Разве защитительная речь Десеца была плоха, разве не сумел он растрогать и взволновать всех слушателей? Ну и что же? Разве это помешало казнить короля? Полно, друг мой, защита – такая же комедия, как и весь наш суд!

– Но удалось же Гаспару отстоять подряд добрый десяток обвиняемых!

– Да, но каких обвиняемых! Все это были жалкие забытые парни, не имевшие ни характера, ни ума, ни энергии, они были ровно никому не опасны, а так как у них не было никакого состояния, то их смерть была бы абсолютно бесполезна. Ремюза... Не забудь, что он очень богат. Помнишь речь Камбона, которому мы так аплодировали? «Хотите покрыть несчетные расходы на ваши четырнадцать армий? – гильотинируйте! Хотите погасить ваши неисчислимые долги? – гильотинируйте!» Да-с, друг мой, если в наше время человека обвиняют в таких тяжких преступлениях, как аристократическое происхождение и богатство, то какому-нибудь Лебефу трудно подыскать оправдательные мотивы! Все дело в том, что решил Робеспьер.

– Но я именно и боюсь, что чувство благодарности перевесит в нем...

– Чувство благодарности? – перебил свою подругу Крюшо, расхохотавшись с таким видом, будто она сказала что-то очень остроумное. – Ну, знаешь ли, наш Максимилиан Великий не страдает этим недостатком! Уж не из чувства ли благодарности он держит столько времени в тюрьме человека, против которого... словом... Ну, да мы одни с тобою, а ты ведь не хуже меня знаешь, что против Ремюза нет ни малейших улик! И несмотря на это, Робеспьер палец о палец не ударил для него! Нет, я скорее думаю, что Робеспьер не может простить Ремюза ту услугу, которую оказал ему этот дворянчик!

– Значит, ты думаешь, что с ним кончено?

– И это тоже трудно заранее решить. Повторяю тебе: все зависит от того, к чему придет Робеспьер. Во всяком случае было бы гораздо лучше, если бы его убрали. Конечно, как я тебе только что говорил, нужно особое совпадение обстоятельств, чтобы мы столкнулись все вместе, потому что помнит меня в лицо только девчонка, а она, слава Богу, прикована к креслу. Но... как знать! Во всяком случае у меня свалится с сердца большая тяжесть, когда голова этого молодчика скатится с плеч... Однако нам пора в суд! По крайней мере, мы сразу узнаем, как обстоит дело! Одевайся-ка да пойдем!

– Ладно! – ответила Адель и, не стесняясь присутствием Жозефа, принялась тут же приводить в порядок свой туалет.

VI Первые тучки

И процесс, и приговор по «делу десяти» вполне удовлетворили слушателей, в изобилии набившихся в зал суда. Еще бы – семерых приговорили к смертной казни, двоих – к вечному изгнанию и конфискации их имущества. А какое наслаждение было слушать сильную и страстную речь Фукье-Тенвиля, каждое слово которого казалось ударом молота, вгоняющего новый гвоздь в гроб обвиняемых!

Даже полное оправдание последнего из обвиняемых – Ремюза – отнюдь не испортило общего впечатления. Оправдание одного придавало особый ореол осуждению девяти, как бы оправдывало справедливость последнего. Кроме того, Ремюза сразу завоевал симпатии, как выгодной наружностью, так и удивительно благородной манерой держать себя на суде, манерой, в которой сказывались и прирожденное достоинство, и глубокое уважение к суду. Да и прекрасная речь Лебефа, легкость, с которой он разбивал все доводы обвинения, восхищали слушателей. И когда в пылу прений рассерженный Фукье воскликнул, что защита аристократа есть уже прямая измена народу, так как народ не может и не должен прощать происхождение от ряда угнетателей, какой гром аплодисментов покрыл ответ Лебефа:

– Высшая измена народу, это – клевета на него! А гражданин-обвинитель клеветает на великий французский народ, приписывая ему чувства мелкой и злобной мстительности. Он клеветает и на высокий трибунал, перед которым мы находимся, предполагая, что это – орган мести, а не справедливости! Так я ли совершаю измену своему народу, указывая на опасность пути, по которому пошел гражданин-обвинитель?

Только двое слушателей были явно не удовлетворены исходом процесса, и во взгляде, которым они обменялись после произнесения приговора, чувствовались испуг и раздражение. Это были Адель и Крюшо.

– Ну погоди же ты у меня! – злобно прошептала Адель, угрюмо посматривая в сторону скамьи подсудимых, где Ремюза радостно пожимал руки своему защитнику. – Будешь ты у меня помнить, как устраивать такие гадости! Я тебе покажу...

– Да будет тебе глупости молоть! – раздраженно перебил ее Крюшо, сильно дернув за рукав. – Уж ты и в самом деле готова верить, что оправдание Ремюза – следствие талантливой защиты? Смех, да и только! Твой Лебеф – такая же марионетка, как и все эти строгие судьи и присяжные! Подумать только – троих защитников председатель подряд лишил слова, а этому молодчику дал выболтаться до конца... Смотри, смотри! – с испугом шепнул он вдруг, растерянно впиваясь взглядом туда, где стояли Ремюза и Лебеф.

Адель взглянула и так стиснула пальцы, что кости звонко захрустели. Действительно к Ремюза с приветливой улыбкой шел Робеспьер. Вот он подошел к нему, горячо пожал руку и стал говорить что-то, потом полуобнял за плечи Лебефа, после чего все они стали пожимать друг другу руки.

– Жозеф! – с ужасом прошептала Адель.

– Да, вот где опасность... – начал было Крюшо, но вдруг сразу его голос пресекся: под влиянием его пристального взгляда Ремюза обернулся и сказал что-то Робеспьеру, который тоже обернулся и пристально посмотрел на агента.

– Пойдем отсюда, – шепнул Крюшо вставая, – и помни: ни слова упрека Лебефу! Все дело повернулось в самую скверную сторону... У них явились подозрения... Будь приветлива и мила с Лебефом, наговори ему комплиментов по поводу его защитительной речи. Это собьет их с толка... Иначе беда!.. А, гражданин Дюран! – приветливо заговорил он, кланяясь высокому, толстому мяснику, проталкивавшемуся мимо них к выходу. – И вы тоже здесь? Не правда

ли, как возвышает и облагораживает душу созерцание этого нелицемерного народного судилица?

– Истинно так, гражданин комиссар! – ответил толстяк, с силой потрясая своей огромной мохнатой лапищей тонкую, жилистую руку Крюшо. – Мое почтение, гражданка! Да-с... зрелище, поистине возвышающее душу настолько, что... не худо бы выпить за здоровье наших судей!

– Вот истинно патриотическая мысль! – подхватил тонкий, вертлявый мужчина лет тридцати, с плутоватыми, бегающими глазами и головой иезуита, на которой взгляд невольно искал следы тонзуры⁵.

И действительно гражданин Фушэ готовился к духовной деятельности, но его вырвал из нее ураган революции.

– Так пойдем к отцу Рено промочить глотку! – весело подхватил Дюран, увлекая за собой Крюшо с Аделью и Фушэ и зазывая по дороге всех встречных знакомых.

В кабачок отца Рено они пришли уже довольно внушительной толпой, для которой пришлось сдвинуть вместе несколько столиков. Через минуту дочь кабатчика, восемнадцатилетняя Сесиль, притащила целую корзину вина, которую впору было бы донести любому парню. Но Сесиль – тонкая, очень красивая – отличалась недюжинной физической силой, и, когда Дюран на правах старого знакомого вздумал облапить ее и посадить на колени, она энергичным движением сразу освободилась от него. Затем, подняв из-под густо сросшихся черных бровей пламенно-угрюмый взгляд темных глаз, девушка коротко спросила:

– Ну?

– Все обошлось на славу, красавица! – ответил Дюран, с полуслова понимая вопрос любимицы. – Семерых отправили в гостеприимные объятия матушки-гильотины, двоих изгнали!

– Семь и два – девять! – лаконично заметила Сесиль.

– Ах, ты, ненасытная! Десятого – Ремюза – оправдали. Да и то сказать, гражданин Лебеф мастерски провел его защиту и доказал...

– Или вернее: ему позволили доказать! – поправил Фушэ, вытягивая свою лисью мордочку.

– Доказал невиновность Ремюза, хочешь ты сказать, гражданин? – с усмешкой договорил Крюшо. – Полно, господа, будем, прежде всего, справедливы! Конечно, нельзя отрицать, что Лебеф произнес красивую, дельную речь. Но, как заметил гражданин Фушэ, Лебефу именно «позволили» произнести эту речь. Ведь зажал же честный Герман рот остальным защитникам! Может быть, они тоже сказали бы что-нибудь дельное, привели бы убедительные доказательства! Но к чему? Участь их подзащитных была заранее решена, так зачем же даром терять время?

– Да разве участь Ремюза тоже не была решена заранее? – спросил подмигивая Фушэ.

– Да... но... для обвинения всегда есть мотив: патриотизм. А для оправдания... Тут надо было втереть очки общественному мнению. Вообще я никого не осуждаю, я понимаю: все мы – люди. Но будем же справедливы в оценке фактов, граждане! Вы вот говорите, что Лебеф что-то доказал. Но вы судите по тому, что вы слышали, а я... Не забудьте, что первоначальное следствие вел я! Ну, так вот: те улики, которые были приведены на суде, принадлежат к числу самых невинных, а были и посерьезнее... Но – странное дело! – ни на допросах, ни на суде о них и речи не было. – Крюшо встретил пыливый, явно ироничный взгляд Фушэ и невольно смешался, поняв, что пронырливому расстриге отлично известно, что комиссар лжет самым бессовестным образом; но во взгляде Фушэ, кроме иронии, чувствовалось открытое одобрение этой лжи, и Крюшо быстро оправился: он вспомнил, что Фушэ принадлежал в конvente к числу тех лиц, которые осторожно, тайно, но упорно подкапывались под Робеспьера. – Я опять

⁵ У католических священников: выбритое место на макушке.

повторяю: не будем осуждать, но останемся справедливыми! – продолжал он. – Робеспьеру не так-то легко отправить на гильотину человека, оказавшего ему личную услугу. Велика ли беда, если одним аристократом останется больше? Франции это не повредит, а...

– Ну да «мне это ничего не стоит, а им доставляет большое удовольствие!» – как ответила на исповеди молодая грешница, спрошенная духовником, почему она так уступчива в грехе, – вставил Фушэ.

– Я не могу допустить, чтобы Робеспьер был способен из личных чувств пойти против справедливости и блага государства! – заявил нахмуриваясь Дюран.

– О, конечно, тебе трудно поверить этому! – насмешливо возразил Крюшо. – Помнишь, что ответил тебе наш великий человек, когда ты пришел просить к нему за сына своего друга: «Какое дело государству до личных чувств? Берегись, гражданин! Ходатайствуя за преступника, ты сам взваливаешь на себя часть его вины!»? Но ведь это он говорил про других! Ну, а для себя у него другие законы.

– Робеспьер – гнусный, вредный лицемер! – резко заявила Сесиль, сверкнув пламенным взором. – Фу, гадость какая!.. Помесь сентиментального попа с бездушным палачом. Он – истинный бич Франции, но он сумел забрать нас всех в руки, застращать! Ах, вы, мужчины! Но ничего: если мужчины слишком малодушны во Франции, чтобы сбросить рабское ярмо, то за родину встанет женщина. Слава Богу, Шарлотты Кордэ еще не перевелись у нас!

Крюшо и Адель переглянулись многозначительным взглядом, но сейчас же опустили глаза под насмешливо-пытливым взором Фушэ. Дюран испуганно вскрикнул:

– Сесиль! Безумная девчонка!

Рено окинула толстяка пламенно-холодным взглядом и ответила:

– Ты боишься, что на меня донесут? Ну так пусть! Все равно, мне своей участи не избежать. Однако я исполню до конца свой человеческий долг: осуждать зло повсюду, где его вижу, а, может быть, судьба пошлет мне счастливый случай и... – она не договорила и, резко отвернувшись, вышла из комнаты.

– Вот шалая! – сокрушенно вздохнул Дюран. – И ведь всегда она была такой бешеной! Бывало, маленькой девочкой забьется в угол и сидит, как волчонок. Однажды отец хотел ее силой вытащить, так она ему все руки искусала. Рассердился отец Рено, схватил ее в охапку, задрал юбочку, да и отстегал ремнем. Сесиль выдержала наказание не пикнув, но, как только отец ее выпустил, схватила глиняную плошку да и пустила ему в голову. Рено опять выпорол ее, а она о него полдюжины стаканов разбила. Побился, да и перестал! Поди-ка, справься с таким зверенышем! А уж невзлюбит кого, так лучше не подходи. Например, ее ненависть к Робеспьеру! Ну что ей за дело до Робеспьера? А ведь вот не возлюбила, так на самую последнюю крайность готова!

– Хэ-хэ-хэ! – захихикал Фушэ. – Ты плохо осведомлен, гражданин Дюран! В данном случае, как и всегда, действуют личные мотивы! Это ведь в теории хорошо выходит, что личные мотивы должны отступать на задний план, а фактически весь мир движется ими! Особенно, если еще крылатый божок Амур вмешается.

– Что ты говоришь, гражданин Фушэ? – удивленно спросил Дюран. – Не хочешь ли ты сказать, что Сесиль влюбилась в Робеспьера?

– О, нет, но здесь довольно презабавная связь причин. У Сесиль имеется друг детства, очень миленький юноша...

– Сипьон Ладмираль? Писец в канцелярии конвента?

– Вот именно! Их связывала самая нежная дружба, которая у Сесиль перешла в страстную любовь, такую же дикую, как она сама. Но Сипьон втюрился, словно безумный, в Терезу Дюплэ, а Дюплэ, как известно, на всем свете видит одного только Робеспьера. А последний так влюблен в «народное благо», что не находит времени увенчать любовь нежнейшей из своих поклонниц!

– Но я не вижу здесь прямой связи! Если бы Сесиль ненавидела Терезу, это – другое дело! А так...

– Однако это очень просто. Сесиль находит, что помехой ее счастью является лицемерное целомудрие Робеспьера. Если бы наш великий человек увенчал страсть Терезы, Сипьон убедился бы, что для него все потеряно, и вернулся бы к Сесиль. Так, по крайней мере, думает эта девчонка!

– Но ведь здесь нет логики!

– Эх, папа Дюран, захотел ты логики от женщины, да еще в делах чувства!

– Но как ты знаешь всю подноготную, гражданин! – с восхищением воскликнул Крюшо.

– О, да, я действительно знаю очень многое! – ответил тот, насмешливо подчеркнув два последних слова и сопровождая их таким взглядом, от которого у Крюшо невольно побежал холодок по спине.

«Проклятый расстрига! – подумал он, невольно кидая злобный взгляд на Фушэ. – Он знает все! Но откуда, как? Ах, да не все ли равно? Но что за несчастный день сегодня!»

Крюшо почувствовал, что обычная подвижность и изворотливость ума совершенно покидают его, что ему необходимо наедине все обдумать и решить. Поэтому он кивнул Адели и встал из-за стола. Но и Фушэ тоже встал, сказав:

– Нам по пути, пойдем вместе, гражданин!

Они простились и вышли. Всю дорогу они шли молча, и каждый раз, когда Фушэ быстрым движением поднимал взор, он встречался с недобрым взглядом Крюшо. Но Фушэ только усмехался в ответ и продолжал молчать.

Наконец они остановились у дома, где жил Фушэ. У калитки он взял Крюшо за пуговицу фрака и сказал:

– Вникни в то, что я тебе скажу, гражданин, и запомни мои слова. Тебе совершенно ни к чему смотреть на меня так враждебно. Я знаю очень многое, и в этих сведениях – моя защита против недругов. Но я никогда не пользуюсь своими тайными сведениями против людей, которые для меня безвредны, а тем более не стану пользоваться против того, кто действует в моих планах и интересах. Ты пошел правильным путем, Крюшо, иди же им и дальше. Правда, тебе не хватает тонкости: если хочешь уронить идола в глазах почитателей, никогда не поноси его, а, наоборот, защищай, но так, чтобы эта защита была обвинением. Пойми, что в массе страшно развито чувство противоречия. Если ты, например, хочешь оттенить чье-либо пьянство, никогда не принимайся ругать его за этот порок, потому что всегда найдутся такие, которые станут защищать, и неизвестно еще, что перевесит. Зато представь себе, что ты заговоришь так: «О, да, конечно, он пьет очень много, но, господа, при его тяжелой работе и жизни... Разве можно осуждать? К тому же это у него наследственное: его отец и дед были пьяницами! Но ведь он напивается всегда наедине, так что его опьянение никого в соблазн не вводит. При этом он не шумит, не скандалит, а свалится где-нибудь на пол да и спит». Поверь, чем жарче ты будешь защищать его таким образом, тем больше отвращения внушишь слушателям к защищаемому, и в конце концов кто-нибудь непременно воскликнет: «Как можно защищать такое животное? Фу, какая гадость! Что за мерзкая свинья». Ты ведь именно и хотел бы, чтобы это было сказано? Но зато это сказал не ты – тут большое преимущество! Так-то, друг Крюшо! Но в общем я тобой доволен. Продолжай действовать так, колебли пьедестал идола! Ну, а под конец можно приберечь и девчонку! Если ее натравить как следует... Ведь она страстная, смелая, ловкая и сильная! Много ли человеку нужно? Маленькая царапинка ножичком... ранка шириной в полдюйма да глубиной дюйма в два, ну, и... заготовливай прочувствованную надгробную надпись, хэ-хэ-хэ! Так-то, друг Крюшо! А меня тебе бояться нечего! – и Фушэ, хитро подмигнув комиссару, приветливо поклонился и скрылся в калитке дома.

Несколько секунд Жозеф простоял, словно оглушенный, потом выражение бешеной злобы искривило его лицо, а пальцы судорожно сжались в кулаки.

– Что с тобой, Жозеф? – удивленно спросила Адель. – Опомнись, разве Фушэ не прав? Разве он тебе не друг? Разве вас не связывают общие интересы, общая цель?

– Фушэ прав, – замогильным голосом ответил Крюшо, – нас связывают общие интересы, общая цель. Но он – не друг мне, а главное, он знает все. Я – лишь орудие в его руках, и стоит мне отказать ему в повиновении, моя песенка будет спета. О, быть игрушкой в руках этого хитрого расстриги... Адель, меня мучают дурные предчувствия! Над моей головой собираются тучи!

Предчувствия редко оправдываются, когда они основываются на пустых предзнаменованиях или на причинах внутреннего характера: упадке нервов, болезненности или просто мало-душии. Но когда эти предчувствия диктуются не чувством, а разумом, когда они основываются на правильно истолковываемых фактах, тогда с ними необходимо считаться.

Для Крюшо такими фактами были оправдание Ремюза, его возобновившаяся дружба с Робеспьером, взгляды, которые кинули на него тот и другой. И действительно, если тут еще не было грозовых туч, уже скопившихся над самой головой Крюшо, зато на горизонте явственно виднелось пятнышко, возвещавшее о возможности наступления непогоды.

Когда Ремюза кинулся жать руки и благодарить Лебефа, последний поспешил отклонить благодарность.

– Полно, полно, гражданин! – смущенно отбивался он. – При чем здесь я? Не меня надо вам благодарить, а... а вот его! – договорил он, указывая на подходившего к ним Робеспьера.

Ремюза кинулся к нему с благодарностью.

– Гражданин! – сказал Робеспьер, горячо пожимая руку оправданного, – я уверен, что как истинный патриот, которым ты оказался по расследованию, ты не поставишь мне в вину, если я не воспользовался своей властью в личных целях. Ты понимаешь сам, что моя благодарность тебе за спасение сестренки бесконечна, но это – благодарность Робеспьера-человека, не имеющего ничего общего с Робеспьером-деятелем. Если бы я выпустил гражданина Ремюза из тюрьмы только потому, что этот Ремюза когда-то оказал мне величайшее благодеяние, то по логике вещей я должен был бы посадить в тюрьму всех тех, кто когда-либо прежде оскорбил меня. Но Франция, моя прекрасная родина, осталась бы в стороне... Во что же превратилась бы власть? В сведение личных счетов! Значит, если ты не можешь упрекать меня за свое безвинное заключение в тюрьме, то тем менее имеешь право благодарить за освобождение. Но вот его, – и он указал на Лебефа, – ты можешь благодарить, как должен благодарить его и я! – Робеспьер обнял за плечи защитника Ремюза. – Ведь благодаря ему я узнал, кто такой – гражданин Азюмер! Но что ты так смотришь в публику, гражданин?

– Я почувствовал на себе пристальный взор ненависти, оглянулся, словно от толчка, и увидел того самого комиссара, который арестовал меня, – задумчиво ответил Ремюза. – Его лицо, говор, манеры – все является для меня мучительной загадкой. Я уже видел его когда-то, но когда, где, под каким именем? – не знаю, не могу вспомнить! Но нас с ним что-то связывает, это бесспорно. Во всяком случае во всем, что касалось моего ареста, им руководило не служебное рвение, а что-то личное, это для меня совершенно ясно!

Робеспьер, еще при первых словах Ремюза оглянувшийся на Крюшо, недовольно нахмурился и сказал:

– Да, этот человек подозрителен мне самому! Но не будем отравлять себе эту приятную минуту – всему свой черед, и делом Крюшо я серьезно займусь. А теперь я хотел просить тебя, гражданин Ремюза, чтобы ты оказал мне честь и пожаловал сегодня ко мне обедать. Я знаю человечка, который будет очень рад повидать старого знакомого! Приходи, конечно, и ты, друг Лебеф! Сейчас у меня имеется небольшое дело, а часа через полтора я к вашим услугам! Ну, так жду непременно! – и, ласково кивнув головой, Робеспьер прошел дальше.

VII Амур-победитель

Люси Ренар грустно сидела в своем колесном кресле и с печальной улыбкой слушала страстную речь Терезы Дюплэ.

Тереза, дочь столяра Дюплэ, квартирохозяина Робеспьера и присяжного революционного трибунала, была высокой, хорошо сложенной, сильной девушкой с красивым, энергичным лицом. Густые черные брови шли ровной чертой, сливаясь над переносьем, и придавали лицу суровое выражение, которое многих отталкивало. Но и поклонников у девушки было тоже немало; однако Тереза была глуха и слепа ко всем исканиям, так как на всем свете видела одного только Робеспьера. В ее глазах тщедушный Максимилиан был полубогом, героем классической древности, непобедимым, мощным титаном. О, как хотелось бы Терезе стать всем для него! Но Робеспьер, не знавший никаких чувственных страстей и излишеств, живший в тесном кругу своих фанатических идей, как-то не замечал страсти Терезы. Даже не то что не замечал – нет, он не раз говорил ей, что не желал бы себе лучшей жены, чем она, но, по его мнению, теперь, когда молодая республика требовала особенных забот о своем преуспеянии и целостности, для него, Робеспьера, призванного свыше спасти родину, было бы преступлением отдаваться каким-либо личным чувствам. Поэтому каждый раз, когда Робеспьер отдыхал в обществе Терезы – а это было для него лучшим отдыхом, – он говорил ей исключительно о своих великих планах, задачах и целях. Ей льстило его деловое доверие, но все же много, очень много отдала бы она за то, чтобы сквозь ровный металлический тембр его голоса просочились хоть раз воркующие нотки пламенеющей страсти. Быть другом, поверенным – прекрасно, но быть *только* другом... Ах, ведь Тереза любила Робеспьера, любила не менее пламенно, свято, глубоко, чем ее саму любил Сипьон Ладмираль, чем любила последнего Сесиль Рено.

О своей любви и бесстрастии Робеспьера и говорила теперь Тереза Люси.

– Меня убивает эта холодность сердца, открытого только для политики! – жаловалась она. – Как он может быть так жесток со мною? Ведь он видит, что я мучаюсь, сгораю на медленном огне, схожу с ума от тоски и страсти! Словно нищий, я молю хоть корочку хлеба, а он спокойно протягивает мне камень дружбы.

– Но, милая Тереза, – со слабой улыбкой возразила Люси, – не подходит ли к твоему положению пословица «как аукнется, так и откликнется». Ведь и ты сама не очень-то благосклонно относишься к поклонению Ладмиралю, который сходит с ума по тебе не меньше, чем ты по дяде Максиму!

– Ах, ну как ты можешь сравнивать, Люси! – с негодованием воскликнула Тереза. – Это – совсем другое дело! Сипьон противен мне, я не переношу людей, у которых нет ни малейшего чувства собственного достоинства! Разве это – мужчина? Он то хнычет, валяясь у моих ног и целуя оборку моего платья, то вдруг начинает грозить, хватается за нож... И все же, если бы я не любила другого, если бы я не знала, что Сипьона глубоко и искренне любит другая, чувство которой он растоптал, изменив без всякого основания... тогда я была бы добрее с ним, постаралась бы полюбить его. Но ведь я люблю другого! А Робеспьер никого не любит! Я не прошу его отдать мне то, что предназначено его сердцем другой... Даже больше: он не раз давал мне понять, что из всех женщин только я одна могла бы заставить заговорить струны его сердца. Почему же они все-таки молчат, эти струны? О, меня иной раз просто пугает эта сверхчеловеческая холодность, это неземное величие духа... Робеспьер стоит за гранью человечности, он перерос бури личных страстей, ему неведома теплота личного счастья!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.